

Филипп Дзядко

Радио Мартын

Роман

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

18+

Классное чтение

Филипп Дзядко
Радио Мартын

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дзядко Ф. В.

Радио Мартын / Ф. В. Дзядко — «Издательство АСТ»,
2023 — (Классное чтение)

ISBN 978-5-17-152776-1

Здесь бульвары и улицы потеряли свои названия, а люди – возможность доверять друг другу. Здесь живут постоянный страх, неумолкающее радио и полчища жуков, оккупировавших город. Мартын прячется в воспоминания, прочитанные книги, старые песни и стихи – в ту жизнь, которая, казалось бы, исчезла навсегда. Но она дает о себе знать – странной запиской, подброшенной в почтовый ящик, пачкой старых писем, не дошедших до адресатов, прорывающимися в эфир таинственными «изумрудными людьми», встречей с необыкновенной девушкой... И оказывается, что у этого измученного мира есть шанс спастись. Роман Филиппа Дзядко «Радио Мартын» похож на калейдоскоп, где персонажи, цитаты, детали соединяются друг с другом, создавая новую картину – то ли авантюрный роман, то ли триллер-антиутопию, то ли историю любви.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-152776-1

© Дзядко Ф. В., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Весна	6
3.67	6
3.1	7
3.2	8
3.3	11
3.4	12
2.1	16
3.5	17
3.6	20
2.2	21
3.7	22
3.8	23
1.1	24
3.9	25
1.2	28
3.10	29
1.3	31
3.11	32
3.12	35
1.4	38
3.13	43
1.5	44
3.14	45
2.4	46
3.15	48
3.16	50
Лето	51
3.17	51
3.18	53
1.6	55
3.19	56
2.5	58
3.20	60
1.7	62
3.21	63
1.8	64
3.22	65
1.9	66
3.23	67
3.24	69
3.25	71
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Филипп Викторович Дзядко

Радио Мартын

© Дзядко Ф.В.

© Остроменцкий Ю., Яржамбек Д., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Посвящается Шоте и Гоше

Роман закончен в августе 2021 года.

В марте 2022 года он был выложен в первой редакции в открытый доступ.

Весна

*«Весна ясная прекрасная с яркими цветами
с белыми облаками»*

3.67

- Держи пилу.
- Что?
- Пилу, говорю, свою держи!
- Что?
- Ничего, врубаю!
- Я думал, это сказки! Это всё на самом деле?
- Держи пилу, скорее! И наушники надень, иначе вконец оглохнешь. Иммигрант сонгс тебе в уши, погнали!

Жуткий звук. Даже сквозь жуткую песню, которую мне поставил Баобаб.

Снаружи и так, что летит куда-то в желудок: ГРРЗЖСК. В ушах: АААААААА. Снаружи и где-то внутри: ГРРЗЖСК. В ушах: АААААААА. Снаружи и где-то внутри: ГРРЗЖСК. В ушах: АААААААА. И так бесконечное количество лет.

Вижу: Баобаб в красном комбинезоне с надписью «Ziggy Stardust» с адской гримасой пилит левый край крашенного в триколор шлагбаума. Его крик я не слышу, свой пока сдерживаю, хотя уже нет. Снаружи и внутри: ГРРЗЖСК. В ушах: АААААААА. Из моего рта: АААААААААААААА.

Вижу: из окон высовываются люди. Вижу: моя пила впивается в металл, еще немного – и все обвалится. Чувствую: мерзкий запах. ГРРЗЖСК, АААААААА, ГРРЗЖСК, АААААААА. Все продолжается секунд пять, миллион лет. Грохот: обе части шлагбаума падают на землю.

Нет, все началось не здесь.

3.1

Бояться не нужно ничего. Город оккупировали жуки. Они появились внезапно, сразу после серного зловония. Но появились уверенно – так уверенно, что казалось: всегда они жили здесь, еще с зырянами. Размером с ноготь твоего безымянного пальца, с вытянутым панцирем в оранжевую дробь и с черными крыльями: эта архитектура делала их крестиком на двери Али-Бабы или крестовым шрамом на правой ладони моего отца.

Строительные леса и верхушки деревьев, лежащие в лужах, листья едва зазеленевших кустов, детские площадки, подъезды, клетки лестниц, квартиры на первых-вторых-третьих этажах, вернувшиеся троллейбусы, скамейки бывших бульваров – все было оккупировано ими, по щиколотку. Жуки, перебирая лапами и шурша крыльями, захватили город и перемещались по нему то хаотичной ордой, то стройным крестовым походом. Возвращаясь домой, вытряхнешь их из складок пальто, снимешь с головы, но новые крестоносцы сядут на твои плечи.

Я открываю глаза. Апрельский луч летит по комнате. Я перескакиваю через него, но на мгновение застреваю в узкой полосе – в ней остается моя тень. Без нее я выхожу на кухню.

Отряхнуться: так теперь начинался день. А я к тому же весь был не только в черных жучках, но и в белой шерсти. Белый линяющий заяц остался в комнате. Я отнес ему воды, студенной. Вернулся на грохочущую кухню. Радиоточка работала в полную силу. По радио сказали: «Бояться не нужно. Ничего не изменится. Была чрезвычайно хороша для зимовки насекомых зима: не были сильны морозы, было много снега, все, что могло перезимовать, перезимовало. Ничего экстраординарного не идет».

День, когда все в моей жизни начало меняться.

3.2

Я залил в уши порцию капель, вставил в левое ухо аппаратик, соединил с иглой. Проглотил кусок пирога с травянистой начинкой, запив его супом из чашки с отбитыми краешками. Вышел на лестницу. В прорезях шлема почтового ящика что-то белело, уходя в голубой цвет. Я тогда подумал: почтовый голубь. Просунул свои длинные пальцы, пальцы пианиста, не знающего ни одной гаммы, в щель ящика, поцарапался чуть, но вытащил листок бумаги размером с твою ладонь. На листке зелеными чернилами было выведено:

«Не медлите, молю! “Цветущий жасмин”. Слушайте. Прямо сейчас, пора! Без промедления.

Р. S. Откройте коробку, подключите к ней наушники».

Я покрутил листок. Больше на нем не было ничего – только зеленая каллиграфия. К листку скотчем крепилась маленькая коробочка, завернутая в крафт. Конечно, конечно, я был удивлен. Не получаю я писем. Тем более таких. Я тогда подумал: это ошибка. Но тон письма, его вес, цвет, внутренний звук заставили меня развернуть сверток.

Я увидел очень-очень маленький, плоский музыкальный проигрыватель. Как раз такой, чтобы его можно было засунуть в почтовый ящик. Я повертел коробочку – это был самодельный музыкальный модуль, видимо, запрограммированный на одну композицию. Сбоку был разъем для наушников. Я вытащил из уха аппаратик, вставил наушники, подвел иглу к пластинке и нажал на кнопку. «Цветущий жасмин». Вибрафон, скрипка, струнные.

Стараясь попасть в темп, в ритм, а потому двигаясь крадущимся, никем никогда невиданным зверем из Красной книги, я спустился по лестнице. И вышел в город, шахматный конь – на шахматную доску: человек с нетипичной фигурой – на улицу, сумрачную от черных жуков, светлую от тополиного пуха. Сегодня вторник.

На место разрушенного воронцовского особняка вчера поставили огромный экран. Здесь показывают то же, что на экранах в соседних переулках. Я вижу кадры – молодые люди в военной форме копают землю (бегущая строка: «Девушки и юноши от шестнадцати до двадцати трех лет успешно изолируются в монастырских и армейских частях и увлеченно проходят уроки патриотического воспитания в рамках волонтерской программы по раскапыванию родной земли»), священник летит на вертолете с открытой дверцей, окропляя водой горящий лес («Патриархия принимает посильное участие в национальном тушении горящего ветхого массива»), мужчина в пиджаке поверх рубашки, вышитой славянским орнаментом, передает каравай хлеба китайской делегации («Удачная сделка по успешной передаче выработанных уральских земель восточным партнерам завершена эффективно»).

Экран укреплен на металлических штырях, воткнутых в землю бывшей усадьбы. Молниеносно исчез любой намек на то, что здесь стоял квартал пушкинского времени. Его будто проглотили жуки или поглотили чары. Такие стремительные прощания и прогалины – по всему городу. И смутные воспоминания. Только приглядевшись, увидишь под ногами, в черной, смешанной с жуками грязи, осколок изразца, кусок деревяшки, кривой обрывок – то ли старой книги, то ли истлевших обоев.

Но сегодня была странность. Эти осколки и обрывки тщательно собирал необычный, физически веселый человек. Необычного в нем было много, он весь состоял из странностей. Крашенные фиолетовым волосы, необъяснимо высок и широк. Темные очки и – несмотря на теплую погоду – тулуп и бордовый шерстяной шарф. На тулупе – значок зеленого цвета. Человек был еще зимним.

Вот представь, он поднимает с земли металлический предмет, отряхивает его от песка, жуков и пуха, гладит рукой, одетой в белую атласную перчатку, осматривает – печная вьюшка. Он нежно, будто это не грязный металл, а муранское стекло, оборачивает вьюшку в тряпочку

и кладет в корзинку – из тех, с которыми моя бабушка ходила за грибами. И снова наклоняется, перебирает руками пыль и гуашевую грязь. Я поставил «жасмин» в ушах на бесконечный повтор.

Внезапно человек выпрямился и вскрикнул: «Внимание!» Вскочив на остаток старой ограды, едва не приколов себя к штырю от экрана с новостями, он поднял руку. И, словно он продолжает прерванный разговор, обратился к случайным прохожим, а значит, и ко мне: «Внимание! Да, вы все забыли! Например. Я недавно думал об экзопланетах. О тех, кто вне Солнечной системы. О двойнике Земли. А что, если этот двойник захочет дать нам сигнал? Захочет с нами познакомиться. Знаете, ветка к ветке клонится? Дать сигнал: “Я ваш двойник. Бегите, ребята”. Какой-нибудь оранжевый карлик или синий великан. Вы же не думаете, что Земля – подходящая для жизни планета? Так вот, если кто-то подает сигнал, его где искать? Надо его, ребята, искать по зодиакальным созвездиям. Сиди себе с антенной на Альдебаране или на Нунки и лови волну. Но что я сказать хочу: нам еще не скоро этот сигнал о спасении поймать. Нам еще долго в чугунных сапогах ходить в сломанную церковь напротив – грехи отмаливать».

Он говорил очень быстро. Быстро-быстро. Он выстреливал словами как пулями, будто его речь кто-то ускорил на два темпа.

«Нам надо решить, что с этим делать. Вы спросите: с чем? Как с чем? Вся эта музыка, открытия, три мушкетера, Гауф, всё, что нам оставили: оно нам зачем? – он потряс своим лукошком. – Мы, разделенные заборами, мы наследники или туристы? Что ты – вот ты лично, – он зачем-то показал своим огромным пальцем прямо на меня, – будешь делать? И ты, и ты. Мы должны стать воинами. Совершать героические поступки. Это не смешно! Вы что, забыли, кем хотели быть в детстве? Вы все забыли! Все забыли! Чувствуете, тепло, а вы все поеживаетесь и хотите все время спать? Вы замерзли! Кстати, приглушите к чертовой матери радиоточки с новостями в своих квартирах. Они обволакивают вас! И не слушайте кретинскую музыку из динамиков – это прививка подчинения. Это распад ваших атомов! Эти новости и эта музыка делают вас рабами. Я называю ее лифтовая. Они уже вас подчинили, а скоро уничтожат. Вы станете глухими – внутри, я имею в виду. Вас будет легко съесть. Всех по одному, разделенных заборами. А представьте, если этот эфир на десять минут занять настоящей музыкой, новостями? А? Что такое настоящие? Те, что о вашей жизни, те, что и правда происходят. Труф! Правда! А? Хоть на десять минут, хоть на три! А если на час? Что тогда начнется? Знаете, что создает человека? Небо, собаки, случайная музыка. О, вот и лифтеры – мне пора, пардон».

Он ловко спрыгнул с остатков ограды. Я обернулся на свистки – на пустырь влетели люди в черной форме и шляпах синего мха. «Несанкционированный сход! Держим дистанцию! Граждане, не мешайте проходу граждан, или будет применен газ! Держим дистанцию!»

Все разбежались. Площадка перед бывшей усадьбой смертельно опустела. Гигант в тулупе исчез – провалился сквозь землю. Хотя я знаю, что так бывает только в сказках.

Я пошел дальше. Я торопился, из-за остановки мое время, так всегда аккуратно рассчитанное, пошло вкривь, вкось, в жалость, сжалось, скукожилось, отскочило от своего привычного течения, покрылось складками, крошилось. Проще говоря: я опаздывал. Торопясь, поворачивая из переуллка, я въехал носом во что-то мягкое. Поднял голову – женщина с барочной косметикой. Она отпрянула и, поводя руками то направо, то налево, стала бегом говорить прямо в меня. Быстро, почти без пауз: ее речь была продолжением бегущей строки на только что виденном экране: «Павлин в крыше! Лестница не достает! Павлин в крыше!» Я сказал ей: «Давайте я. Служба спасения работает только с кошками, они не занимаются павлинами. Давайте я, я сделаю это сам».

Я стал смотреть на крыши домов и искал черный клюв, колышущиеся перья, судьбе не раз шепнем, но не увидел ничего, кроме дыма на горизонте. Женщина, почти вжавшись в меня, сказала: «Дебил носатый» – и пошла дальше. Аппаратик! Я проверил: так и есть – аппарат

лежал в кармане. Я снял наушники с «Цветущим жасмином», соединил аппаратик с иглой в ухе. Шуршание и звон в голове сделались тише. Обернувшись, я увидел, как барочная женщина подошла к другому прохожему, он говорил ей: «Винный в крыле? Направо, первая дверь, вниз по лестнице». На всякий случай я еще раз посмотрел на крыши. Павлина не было. Он был только в моем ухе, вместе с жасмином. Но я стал о нем думать.

3.3

Смешной гигант с пулевой речью. Планеты нам шлют сигналы, мы рождены для подвигов, а главное, не слушать новости из радиоточки и музыку развлекательных станций. И тогда будет хорошо. Безумец или провокатор. Но такому чугунные сапоги на свободе недолго топтать. Ложь, ложь! Какой-то перевернутый мир с обволакиванием. Его послушаешь – выходит, мне повезло! Почти всю жизнь я и все вокруг думали, что наоборот: какое может быть везение у дефективного. Но вот новости от городского сумасшедшего: мой ущерб – мое преимущество.

В отличие от всех на свете, не слышать новости и музыку, которые всегда с нами, для меня проще простого. Мне достаточно вынуть аппаратик из уха. Я и так иногда забываю вставлять его, как забыл сегодня. И тогда или совсем не слышу, что мне говорят, или слышу в причудливом пересказе: получаю вместо этого перемешанные звуки – шум ветра в вентиляции, движения насекомых, гул воды в трубах, чьи-то страдающие голоса. Это трудно, иногда невыносимо. И из-за этого я попадаю в нелепые ситуации. Но выясняется, есть и плюсы: я, оказывается, меньше других «обволакиваюсь». Бред. Вряд ли гигант в тулупе представляет, каково для меня не слушать обволакивающие звуки, каково мне долго быть без аппарата. Я не могу – разрушаюсь. Слишком много чужих станций, это трудно выдержать. Что делать с ними и с уничтожающей меня жалостью?

Я думал об этом, сидя в своем гипсокартонном закутке, думал, глядя на пятна на потолке системы «Армстронг», думал, наливая воду из кулера, думал, уставившись в компьютер, думал, рассматривая кардиограмму монтажной дорожки – она была красивее, чем интервью начальника овощебазы, которое в ней содержалось. Офисный репродуктор внезапно ожил голосом руководительницы: «Вторник, ко мне зашел, ко мне зашел, паскуда, я сказала». (Ты должна знать, что тогда я входил в любую комнату так, будто прошу за это прощения.)

Я сделал двадцать четыре шага по прямой и восемь по диагонали и вошел в кабинет руководительницы.

3.4

Весь ее стол был завален трупами жучков. Запись я не успел включить, поэтому воспроизвожу наш разговор так, как понял и как помню.

– Опять заходишь так прижавши уши, как будто извиняешься мгновенно за свое существование. И не зря. Ты ничего не делаешь, паскуда. Не боишься, что отсюда уволю я тебя?

– Бояться ничего не нужно: ничего экстраординарного не идет, – прошептал я самому себе.

А ей ответил:

– У меня плохой период, малотемье.

– Ложь! Ложь! Малотемье у тебя в штанах. Вокруг трещит земля: тренировки в континентальный чемпионат, закон о наказании за очереди, горят ветхие леса, строится социальное жильё, трутся спиной медведи, короче, о земную ось, мимо плывут столетия.

– Ко мне из темноты, – прошептал я самому себе.

– Работы – жопой ешь. Бери любую тему! Отмораживайся уже.

– Была очень хорошая для зимовки насекомых зима, – прошептал я себе.

– Глаза не прячь. Вон как инновационно все трудятся. У тебя же работа простая, как жопа муравья. Я сколько говорю, ухи открой, фальшивый инвалид. Бегай, жги! Чтоб я такой мелкотой, как ты, занималась еще! Свой долг перед твоей семьей, считай, я выполнила и перевыполнила, висешь на волоске, на ссаном своем наушнике, ты под Богом ходишь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную, алилуйя. – Она низко, касаясь пальцами пола, но с прямой спиной, как мы на уроках физкультуры в школе, стала кланяться. – О чем я?

Всякий раз, когда на меня повышают голос, мне кажется – если успеваю надеть наушник и что-то разобрать, – что люди говорят плохими полустихами. Если не успеваю, то слышу скрежет или бессмыслицу, тогда сам ее превращаю в смысл. Сейчас успел, но не совсем.

– Ложь! Ложь! Тебе уже тридцать с малым хуем, а ты всё тапочки плетешь.

– Мне сорок почти.

– Ну, сорок без малого хуя. Ищи-свищи, покажи мне ногти работяг, расскажи про будни охотников за иноагентами и пидорасами. Воспой подозрительных, тех, кто бдит, кто не боится жаловаться, кто тратит время на поиски врагов. Две, сука, вещи надо делать: монтаж, микрофон, монтаж, микрофон, монтаж, микрофон, монтаж, микрофон, монтаж. Что, блядь, трудного.

Я помычал. Я повторял слова.

– И прекрати твердить одно и то же.

Тетка руководительницы была чем-то обязана дедушке, поэтому я получил место в главном и единственном новостном СМИ страны. Это «Россия всегда», я звено в одном из десятка его подразделений. Это подразделение занимается человеческим фактором и глубинным народом. Я звукорежиссер. Да, помню, как ты удивилась, что я могу быть звукорежиссером, но я могу – и лучше многих. Я мгновенно вижу все параллельные дорожки, я могу почистить любую запись, я могу все расставить лучшим образом. У меня идеальный слух. Раз в неделю я поставляю реплики сотрудников госучреждений для новостей и монтирую подкасты о строительстве новых объектов. Я «звукач» и «микрофон». Тут много таких. Из-за нехватки места мы работаем в редакции по дням недели. Я – вторник. В «Россию» я обязан приходить не чаще и не реже одного дня в неделю, это вторник, это вторник. Это мой присутственный день, а монтажи «присылай откуда хочешь, хоть из своей жопы».

Благодаря нацпроекту информирования населения и в рамках возрождения традиций СССР мы повсюду. Мы – суверенное радио «Россия всегда», важнейшая часть инфохолдинга «Россия всегда». Наша работа слышна во всех домах – в старых, где заново подключены радиоточки, и в новых, которые без радиоточек не сдаются в эксплуатацию. Звук можно делать тише,

но выключать радиоточки запрещено, да и невозможно – только повредить, а это уже статья: раз в неделю их состояние проверяет участковый. За порчу точки – штраф, при повторном – лучше и не думать, да и зачем. Каждое утро и вечер о предназначении радиоточек сообщает сама радиоточка, и этот застегнутый на все пуговицы текст мы знаем наизусть: «Подключение всех помещений к сети проводного вещания является одним из условий эксплуатации зданий, поскольку радиоточка – средство оповещения при чрезвычайных ситуациях, возможность сообщения людям о химической, биологической, радиационной опасности в военное и мирное время. Количество радиоточек регламентировано СП 173.13330.76272 “Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования”. Береги свою радиоточку!»

Наши голоса сообщают новости в каждый дом, включая нежилые помещения, служебные и общеобразовательные здания, как то: магазины, конторы, школы, детские сады, институты, больницы, дома отдыха и проч., и проч. Поэтому, говорит руководительница, так важно быть достойным сотрудником и вовремя сдавать работу.

Но последнее время, а если быть честным с тобой, то все время, что я тут работаю, я не могу почти никого записать и опаздываю с монтажами.

Я, пожалуй, люблю эту работу. Я люблю объединять звуки. Но во мне, как и во всех здесь, продолжал расти страх. Я ходил на работу по вторникам, сидел за столом, делая вид, что монтирую звук, а сам разглядывал кардиограммы записей или разводы на стене, складывая их в фигуры: иногда получался слон, недавно – Италия без каблука. Я возвращался домой, сразу ложился. И долго не мог уснуть, скрываясь в шерсти белого зайца, смешанной с черными жуками.

Я решил предложить тему о пухе и жуках: записать мнение докторов о том, как нашествие жуков и появление пуха в апреле, аномально раньше времени, влияют на эмоциональное состояние горожан и сотрудников учреждений. Я сказал: мы по радио передали, что панцирные крестовые мухожуки – это совершенно привычный вид, бояться их не следует. А истерия насчет заразности – совершенный бред, сумасшествие какое-то. Очень важно создать передачу о том, что все насекомые исчезнут в свои обычные сроки: кто живет неделю – через неделю, кто месяц – через месяц. А пух раньше времени – знак увеличения теплых месяцев, что полезно для урожаев и развития курортного крымского сезона. Надо развивать.

– Послушай, обморок, что ты сочинил? Это ржавчина. Ложь! Никаких передач о жуках, никакого пуха на наших волнах. Сеять панику задумал? Под суд меня ведешь? Жуки – только в сетке успокоительных новостей. Ложь!

И она смахнула рукой трупы жуков со стола, но несколько осталось.

Руководительница Кристина Вазгеновна Спутник запрещает называть ее по имени-отчеству: все называют ее просто Крис. Она красива, как маска древней богини из магазина в Пушкинском музее. С ней всегда презрительная гримаса. Вероятно, это из-за необъяснимого тика: губы трясутся и ерзают по лицу руководителя, и в особенные моменты кажется, что они соскочат и бросятся восвояси, на волю. Поэтому чаще всего она прячет нижнюю часть лица в бобровое кашне. Чуть ниже кашне – две цепочки, на одной висит огромный, инкрустированный камнями крест, на другой – медальон (говорят, внутри портреты руководителей страны), он теряется в недрах декольте. Она напоминает героиню итальянского кино семидесятых годов – из тех, что мы тайно смотрели в школьном овраге. Сходство усиливают два обстоятельства: выбитое прямо на груди, под цепочкой с крестом, слово «плоть» («Ошибка юности», – смущенно объясняла Кристина Вазгеновна, но было видно, что она рада, что у нее есть такой изъясн) и жесты – она активно использует руки, то молитвенно соединяя ладони и прижимая их к груди, то, напротив, разводя руки в стороны, сгибая короткие пальцы с яркими длинными ногтями-когтями. Ее любимое слово, точнее окрик, – «ложь». Как правило, она говорит о лжи западной цивилизации, произнося дважды и отрывисто: «Ложь, ложь» – это напоминает

лай. Ее любимая угроза – угроза «уничтожения родины как этноса, как нации». На ней всегда висят ордена и медали, они звенят при малейшем движении. Она руководит всем холдингом, но радио – ее основная работа, и «по любви», и потому, что это «самое тотальное медиа», от него никому никуда не деться.

– Вы знаете, – сказал я, – вокруг много разговоров о великанах.

– Чего?

– Я слышал о великанах. Что они спят под городской почвой, но могут однажды выйти на поверхность и разрушить до самого основания все. Это, возможно, еще одна причина страха, быть может, надо сделать запись монолога – фольклориста, например, или, напротив, антрополога, – насколько это реальная ситуация.

– Заткнись.

Я заткнулся. Но она заткнулась тоже.

Помолчали.

Помолчали снова.

Я подумал: во сколько десятков или – как знать? – сотен раз великаны, спящие внутри земли, превосходят размером жуков? Или, быть может, жуки – это вестники великанов? Кто скажет, что эти жуки появились не из-за того, что великаны начинают тихонечко просыпаться? А что, если эти жуки живут в складках пальто великанов и эти складки начали ломаться? Надо обдумать это. А ведь еще есть орлы!

– Ты не хочешь задуматься уже? Взрослый мужик, о душе пора подумать, тебе помирать, считай, скоро, а ты все мальчик, ты bebéшка. У вас все поколение такое. Какого ты? Восьмидесятого? Вы ревущие – от слова «рёва». Бебешка. Бебешка. Бебешка. Бебешка.

Ее ненадолго будто заклинило, как старую пластинку с царапинами.

– Бебешка. Рёва. Бебешка. Рёва. Вы все такие, тук-ту-у-у-ук, – она постучала по моему носу, – будто жизнь все не начнется.

– Художник – от слова «худо», – прошептал я.

– Вы все такие, будто жизнь все не начнется, – зачем-то повторила она. – Ты же без меня ноль, пропадешь, я для тебя все, если бы не я, давно бы уже сгинул в можайских рвах за безделье и за свои странности. Держись за государство, как за веточку. Без нас вы все сдохнете с Божьей помощью. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную, помилуй мя. – Она снова совершила три поясных поклона. – Сдохнете!

В это я и сам верил. И поклонился ей, полуприсев и поведя воображаемым плащом.

– Нет, ну какой все-таки ебанат.

Помолчали.

Помолчали снова.

– Все вы такие. Хорошо, что следующих закаляют в армии и монастырях. Те, кто вернется, уже не будут хилыми. Как вы, как эти. Им за тридцатник, и не раз, а все на положеньи падаванов. А родине еще бомбить и бомбить врагов, бить страны-агрессоры, бомбить, бомбить, бомбить, бомбить.

Я вижу, как у моего виска появляется дуло револьвера, и тут же – я не успел пригнуться, отпрянуть, дернуться, убежать от этого дула – револьвер стреляет, пуля разрывает мне голову. Я вижу это всякий раз, когда мне стыдно за что-то сделанное, за что-то, что уже не вернуть. Но, отбросив эту картину, ведь это не совсем тот случай, я вспомнил и прошептал:

– Но работа квалифицированного звукорежиссера...

– Но работа квалифицированного звукорежиссера... – Кристина Вазгеновна сложила губы в трубочку, вытянула их и вытянула шею, соединила пальцы правой руки так, будто собирается перекреститься, крепко схватила свой собственный нос этими соединенными пальцами, чуть изменила голос, сделав его тоненьким. Это она меня изображает, понял я. – Я тя умоляю, – заговорила она опять своим толстым голосом, – квалифицированного! «Высоко» еще скажи.

Таких, как ты, две тонны говноты. Я тебя завтра заменю, вообще не замечу. Чего там – резать пленку, звуки вытаскивать, не посмотрю, что ты инвалид типа. Да какой ты инвалид! Где твои амбиции, ты кем быть хочешь, хочешь, чтобы государство тебя тащило, чтобы опять старшие все решали? Уже седина в ребре сверкает, а глаза и дела младенца. Ты тля.

– Что?

– Тля.

– Что?

– Тля.

– Бля?

– Тля!

– Тля?

– Тля, бля!

– Тля, бля?

– Тля, говорю, бля, бля, ты, ты.

Помолчали.

Помолчали снова.

– Так. Ладно. Посмотрим. Вот тебе тема, нос аномальный. Звонил Игорь Игоревич с почты. У них находка. Оптимизация офисного полотна принесла с собою неожиданный результат. Контейнер с посылочным материалом, не распределенный по домохозяйствам, грел яйца много лет. И вот дошел. Нашли его.

Я ничего не понял, но промолчал.

– Иди и зафиксируй мне радость рядового менеджера. Сделаем запись о бережном хранении памяти родины. О модернизированной технологии. Сегодня праздник будет у ребят, дуй на склад, запиши синхрон у кого-нибудь из главных. Разрешение получено: собрание полностью законно. Праздник санкционирован!

– Но а жуки, а жуки? А великаны?

– Ложь! Ложь! Все насекомые исчезнут в свои обычные сроки, и с ними ты, перерожденец. Мы здесь навсегда теперь, понял? Это не изменить ни жуками, ни великанам в твоей голове. Праздник на производстве нам нужен: радостная слеза глубинного русского, позитив. Ты слышал, фрагмент недоразумения, что я сказала? Катись колбаской. Иди в почтовые склады.

Возможно, я неверно слышал, возможно, не так понял. Но я не успел вовремя включить запись, а переспрашивать было неловко. И так я оказался на почте.

2.1

Я стою без трусов перед большой женщиной в красном костюме. Говорю, что, когда я читаю, я писаюсь. Когда смотрю кино, писаюсь. И когда жду троллейбус – тоже.

Всякий раз, когда я говорю слово «писаюсь», я испытываю ужасные ощущения, это слово отвратительно.

– Когда я сижу на уроке физики, я писаюсь.

– Сейчас описеешься тоже? – спрашивает женщина.

У нее грудь как у учительницы младших классов. Я хотел бы спрятаться в ней, нырнуть, свернуться в позу смертельно раненного Мачека, подтянуть колени к животу и уснуть, я бы поместился в ней весь без остатка, жил бы в этом кармане, читал бы книжки, выслушивал бы рассказы других мальчиков, жалующихся на разные неприятности или, напротив, мечтающих исполнить свой долг. Они бы говорили: «Я готов служить своей родине, я совершенно здоров, поставьте подпись, я иду на войну». А я бы лежал в декольте большой женщины в красной блузе, между ее шестнадцати безразмерных грудей, перекатываясь из кулька в рогожку и глядя на зеленые стены с подтеками и на трескающийся белый потолок, выдумывал бы, в какие фигуры складываются эти подтеки и эти трещины: в слона, в заварочный чайник. В родимое пятно над твоим коленом, которое я еще не знаю. Я бы поместился весь.

«Я напишу, что ты не годен, – говорит она, – ты зря пиздил про благородный энурез, и без того бы разобрался медсовет, дефектный ты, носатая паскуда, ну а покуда я упеку в больничный склеп тебя, проткну тремя шприцами, жалеть ты станешь, что родился на Божий свет, и, так и быть, не встанешь под ружье, будь счастлив, вот твоя медкнижка, катись колбаской, на хуй дуй отсюда. И жить в моей груди тебе не светит. Прощай».

3.5

Я проснулся поздно, поставил джезvu на огонь. Пылинки летают в солнечных лучах. Яблоня лезет в ок-но, ветер толкает ее, помогая зацепиться за антенну в очередной попытке угнать на улицу дедушкин радиоприемник, который я умею разбирать и собирать с закрытыми глазами. В приемнике нет нужды, только если хочешь послушать разрешенные развлекательные станции. А для новостей – радиоточка с «Россией всегда». И работает у нас, как и всюду, она круглосуточно.

Я засунул аппаратик в ухо, вышел на кухню. Радиоточка сказала: «Безрукий единоросс передал слепым россиянам тактильный портрет президента. Теперь тотально слепые члены общества смогут наконец представить лицо лидера. Отметим, что портрет выполнен из экологичных гипоаллергенных материалов и близок по величине к оригинальному размеру головы президента».

На кухню вошла Тамара. Соседка, вернее хозяйка большой комнаты, вернее хозяйка всего. В широких шароварах, зеленой бархатной шапочке, в накидке болотного цвета из грубой ткани с пришпиленной костяной брошью, шаркая тапками, подошла к плите, сделала звук радиоточки тише. Кивнула мне и дунула в свой свисток – один из немногих резких звуков, которые не пугают меня. На кухню выбежала дюжина ее морских свинок, и началась повторяющаяся изо дня в день игра – свинки бегают за пылинками, летающими в солнечных лучах, крутятся на месте, скользят на кафельном полу, падают на бок, подпрыгивают. Тамара бросает пару дуршлагов на пол, и свинки, катаясь по шахматному кафельному полу, перекачивая дуршлаг, толкая их, толкаясь друг с другом, со звоном ловят в них солнечную пыль, собирая и просеивая солнечные пылинки, мягче которых, как все знают, нет ничего на свете.

Тамара берет с гвоздя маленькую сковородку, снимает шапочку, вынимает из волос гребень, достает из холодильника куриные яйца и бьет гребнем – раз, два, три, – три круглых желтка стекают в сковородку, за ними туда же летят три какие-то травки, щепотка соли. «Ты без масла, как дедушка?» – спрашиваю я, хотя знаю ответ: «Все как при дедушке, не сомневайся». Я однажды рассказал Тамаре, что яичницу надо готовить не наливая масла, как учил меня дед: сразу на раскаленную сковородку. Это единственное, в чем она меня послушалась за все время соседства на кухне. А она научила меня всему, чему только могла: сотне рецептов пирожных и супов, знанию всевозможных приправ, пониманию трав и растений. Я отличный повар. Иногда это ценят в баре, где я подрабатываю.

Я ем ежедневный кусок пирога с травянистой начинкой, Тамара приступает к созданию коронного блюда. Снимает со шкафа серебристую кастрюльку. Напевая что-то дребезжащее о преданной девушке, она зажигает огонь в полную силу и ставит на него кастрюлю с супом. Это единственный суп, рецепту которого она меня не научила: «Беата Илларионовна прилетели, будем радовать, ну и тебя поить, как обычно».

Беата Илларионовна – это так называемая «кузина из Житомира». Я уже видел ее однажды – чернобровая женщина (Меркуцио называет ее Брежневым), сидящая черным мешком и издающая kloкочущие бессвязные звуки. Она – «сотрудница» Тамары. Так мне ее представили, но за все эти годы я так и не понял, чем занимается Тамара, так что и о профессии Беаты ничего не знаю.

Резкими движениями Тамара бросает в kloкочущую воду: щепотку невнятной трухи из старой жестяной банки, сыпет муку, кидает имбирь, и еще, и еще что-то, что я уже не вижу. Сколько я ни старался, мне никогда не удавалось подсмотреть, из чего сделан мой еже-недельный суп, Тамара будто намеренно загораживает спиной плиту. Все шипит и дымится, по комнате разносится легчайший запах. От меня она хочет только одного – я должен подойти и, накрывшись епитрахилью ее деда («Мы колокольные дворяне», – говорит она о себе), пропеть

припев из песни «Jubilee Street». Почему из нее? Тамара не объясняет. Я послушно в сотый раз склоняюсь, вдыхаю тяжелый пар и, пропевая «I'm pushing my wheel of love / I got love in my tummy / And a tiny little pain / And a ten ton catastrophe / On a sixty pound chain / And I'm pushing / My wheel of love up Jubilee Street», направляю свое колесо любви обратно на диван. Тамара одобрительно кивает и бормочет что-то в духе «хороший тон, славно, славно», и кричит в горшок еще несколько фраз. Потом достает из кармана фартука небольшую шкатулку, заводит ее на пару оборотов и трясет над кастрюлей – скрипучий мелодичный звук сыпется в закипающий суп. Она мечется по кухне, оттуда достанет зелень, отсюда – коренья, приправы, соль, снова заводит маленькую шарманку над кастрюлей, почти ныряет в кастрюлю, принохивается, не готово ли, что-то опять напевает, бросая звуки прямо в суп. И вот на огонь льется с кастрюлевых бортов густая пена, все клокочет и булькает, валит пар.

Налив два половника в серебряную миску, Тамара ставит ее передо мной. Одновременно и сладкий, и кисловатый, и горький, и нежный вкус. Я в это не очень верю, но она говорит, что суп необходим. Она дает мне его все то время, что мы живем вместе в квартире. А что было прежде, я не помню, если не считать случайных картинок из другого прошлого, где ее нет, изредка всплывающих в голове.

Тамара говорит, что эта тарелка супа вместе с пирогом помогает мне унять голову. Успокаивает путешествующих в ней сотни тысяч мыслей и сотни тысяч голосов живых и неживых существ, жалующихся на боль. Эти звуки всегда живут во мне, я как радиоточка, но не с одной станцией, а со множеством. Они перекликаются, ни на минуту не давая услышать тишину. И тогда голова раскалывается, как фарфоровый чайник, падающий на кафель.

Как всегда после супа, я немного поспал – тут же, на кухонном диване, среди вышитых подушек, как какой-нибудь наследный принц в каком-нибудь забытом дворце.

Меня разбудил петух – звонок на смартфоне Тамары, который она ставит, чтобы отмерить, когда выключать плиту. Огонь горел на всех конфорках. Тамара ошипывала гуся. И как всегда после такого короткого сна, я почувствовал, что обновился. Я выпил свой уже холодный кофе, послушал записи за прошлый день: я фиксирую на диктофон почти все разговоры, чтобы затем в спокойствии их послушать, в момент речи не все усваиваю. Хотел закурить, но, услышав чирк колеса зажигалки, Тамара мотнула головой, и я увидел: бессловесная Беата Илларионовна сидит в углу у расписной прялки. Звук ее работы похож то ли на гул холодильника, то ли на шум моря. На чистом блюде лежит прозрачная фигурка белки – сегодня они опять будут гадать на воске.

Всякий раз, когда «сотрудница» приезжает, Тамара бесконечно готовит, Беата молча ест и молча прядет. Вечерами они гадают. И каждый раз Тамара требует не курить: «У Беаты астма, не нарушай ауру». Я выхожу на лестничную клетку.

Покулив, я открыл почтовый ящик, чтобы забрать квитанции. Отделяя счета за воду от рекламных брошюр, монастырских буклетов, памяток о поведении в условиях эпидемий и военных действий, я опять нащупал странный шероховатый листочек бумаги. На этот раз каллиграфическим почерком было выведено: «При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплат к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплат от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».

Эта вторая записка вызвала маленькую галлюцинацию, но не связанную со стыдом и незрительную, а звуковую. То ли колокол, то ли литавры из «Жил певчий дрозд», то ли индейский тамтам с пластинки «Питер Пэн». Что-то новое выступает.

Мне сразу захотелось выпить старого или нового вина, а в «Пропилеи» идти было еще рано. Я положил листок в карман и пошел выполнять задание руководительницы – на почтовый склад. Вибрафон, скрипка.

3.6

Видел его уже где-то, он в черном фраке с фиолетовым камышом в руках и в цилиндре, испачканном голубем. Точно видел его раньше. Он пел – бормотал, но довольно громко. Я не успел включить запись вовремя, но одну фразу успел записать, как раз когда он проходил левым плечом через мое правое плечо. Так я даже поймал запах его черного фрака, чешуйчатого крыла, оно отдавало мастикой.

«А что, а что, а ты давай-давай попердывай, да не переживай, а что, а что. Ну ни хера-се носяра, ты что с Марса прилетел?»

Он заметил меня и разинул рот. «Ну ни хера-се носяра, ты что, с Марса прилетел?» Это обо мне. «Ну ни хера-се носяра». Это обычное дело. Я давно не обижаюсь, люди всегда удивляются, когда видят меня впервые. Я почти не помню, когда мой нос был обычным скромным носом с прыщиком, носом ученика средней школы. «Ну ни хера-се носяра». Еще бы! Я только улыбнулся и только обернулся, и так мы шли несколько секунд, отдаваясь друг от друга, с обернутыми друг к другу головами, смотрящими против движения. И так я увидел, что к нему подходят росгвардейцы, и хотел предупредить его, но не стал. Он уткнулся в них. И черные формы заломили ему руки, пригнули к земле. И вот он упал, сперва уткнулся в укроп и базилик, а потом еще ниже, и закон притяжения ждал его внизу, на заплыванном асфальте, из которого пробивались узкие зеленые лезвия мятликовых листьев и, кажется, иван-чая. И эту многофигурную сцену огибали, смотря сквозь нее, люди-прохожие, и сбитый с головы черный цилиндр сутился по мостовой, отчаянно и неприкаянно, как поломанный мячик: в том, что в светлый день вдруг хватают странного человека, давно нет ничего странного. И я хотел крикнуть, что же вы делаете, «он же только странный, в чем его вина», но не стал, конечно, я не стал вмешиваться – это не мои дела, людям виднее, явно же, что он какой-то не такой, какой-то чокнутый. Но я и без крика слышал сквозь уличный гул, своей внутренней радиоточкой, как ему плохо и как страшно, но что я могу? Иначе вдруг и меня заберут, и снова скукожится мое аккуратное время, а мне на работу, еще и опоздаю из-за такого случая. Помнишь, как в том стихотворении? Нельзя попадаться навстречу, не смотри на продавленный мячик, лучше свернуть, не ответить. Я-то, слава богу, понимаю, что ничего не могу, что от меня ничего не зависит. У нас все-таки умеют разбираться, и не дураки решают. У нас и так множество проблем, а власти дают нам возможность не бояться, не реагировать на страх. Как он сказал? «Да не переживай, а что, а что». И я отогнал от себя картину: как пригибают в корзину для зелени голову, лишенную цилиндра. И повернулся по ходу движения всей толпы, и перестал оборачиваться, и с другими людьми продолжил идти, мы шли как гуси-лебеди, в нос налетали жуки, пыльца проваливалась в волосы, еще пара поворотов, и я дойду до почтового склада, и я на почте. Я окажусь в складках складов, среди множества контейнеров, помеченных знаком «Почта России». Какой из них мой, этот, наверное, этот, номер 22 567, да, наверное, этот, я тут уже, вот я.

2.2

Я сижу, упершись подбородком в желтую парту, на ней вырезано «эльфы ушли на восток» и «таня – жопа». Я сижу в первом ряду, у стены, под Лермонтовым; моя парта – вторая. В воздухе слышна зима, она за поворотом и в рукавах, поведешь рукавом – и сразу она наступит, осторожней двигай рукой. В воздухе – обед, вареные сосиски и, возможно, кофе с молоком. Рядом – Нателла, она скулит, объясняет: ей тут вообще не место, место ее – в музыкальной школе, в классе скрипки. У нее черная большая коса, большой рот, и она говорит: «У меня большое будущее». Сейчас случился тот урок природоведения, который я всегда буду помнить. Сперва речь шла об осадках и других погодных явлениях, и я перерисовывал из тетрадки Нателлы значки дождя и снега, ветра и солнца. Я наносил на карту звезды и Луну, я даже начал рисовать хвосты и перепонки на чешуйчатых крылах у маленьких существ, живущих на Луне, хотя этого никто и не требовал, а даже возбранилось (они говорили: «Художник – от слова “худо”», дергали за ухо и писали выговор в дневник). Вера Васильевна завела речь о том, что находится у нас под ногами – ниже второго этажа с классом биологии, в который нас пустят еще не скоро и в котором, по слухам, стоит самый настоящий скелет, кости заснувшего навсегда первого сторожа нашей школы, ниже первого этажа, где находится лабиринт, где гуляет песчаный ураган и где Гена Тополицын однажды на спор провел ночь и стал седым, ниже лабиринта – там, где подводные фиолетовые реки несут свое движение и цветут камыши невиданных расцветок, где спят праздничные великаны, ниже всего на свете. Об этом, переступая мелким сафьяновым шагом, тучная Вера Васильевна Сиреневая, которую все называют ВВС, шепчет нам, тридцати обморокам:

– В этой части почвы, ушедшей под суглинок, за толщею травы, за сном чертополоха, нас ждет идущий вглубь тот самый толстый-толстый слой...

– Шоколада! – выкрикиваю я и заставляю всех смеяться, призывая забыть о черной почве и вспомнить о недоступном нам «Марсе», увиденном в телеке на poste дежурного охранника Ивана Ильича.

– К доске, Мартын.

– Прошу называть меня не иначе как Мартын Филиппович.

– Ты что, ополоумел, мальчик?

Я объяснил: раз я называю ее Вера Васильевна, значит, и она должна уважать меня, и мы должны существовать в унисон, как ветер и звезды, как луна и солнце.

– Мартын наш опять напрашивается. У меня в каждом классе такой есть. Дед с бабкой до тряпки избаловали. Сядь уже.

Но я не сел. Я говорил: с какой стати она не может запомнить имя моего отца, если я помню имя ее отца, мы вместе выйдем на улицу, оказавшись под одними осадками, и наши имена и отцы будут общими, перемешавшись в зимнем воздухе.

Она смотрела на меня блестящей, как соль, сединой, чуяла всем ледяным сердцем и выгнала, вытолкнула меня, по пути оскорбив, наговорив океан бранных слов, указав на дверь, и я постыдно рыдал от обиды. Я хныкал, забившись между куртками третьеклассниц, их куртки пахли жвачками и мандариновыми корками. И когда я укрылся чужим шарфом, ко мне подошла девушка выше меня тогдашнего в семьсот раз и красивее всех, что живут между подводными реками, и стала успокаивать меня, уговаривая, что все переживется, каждый день по чуть-чуть. Кто она такая и что с ней стало, я не знаю. Я несколько раз старался быть изгнан из класса, я сидел на полу, принимаясь к мастике, мылу и жвачкам, я ждал, что она снова появится, но тщетно. Но знаешь что? Ты очень похожа на нее.

3.7

«что мы встречались где-то:
мне так знаком сосок твой и белье».

Так было написано зеленой краской на стене трансформаторной будки, у самого контейнера номер 22 567. А рядом – рисунок медицинской склянки, из которой капает изумруд. Точнее, написано было больше, но оранжевые дворники уже втерли часть букв в стену. Они и эти две строки почти втерли, но я их распознал. Я стал видеть эти знаки после встречи со странным человеком в тулупе, рассказывающем об экзопланетах, и после тех двух записок в почтовом ящике. Так эти черно-зеленые граффити и значок изумруда стали проступать из городского воздуха. Я, кстати, знаю это стихотворение, и теперь думаю о твоих сосках, и хочу тебе сказать: «Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, / отдайся мне во всех садах и падежах!» И говорю.

3.8

Это был большой ржавый контейнер. Размером – с вагон метро, в котором от бесконечного движения окна исчезли и сделались стенками. А дверь в торце осталась. Формой – детский чернильный пенал, оброненный на пикнике и так бесконечно долго пролежавший среди ягод и осиных крыльев, что разросся до молодых сосен. Но больше всего он был похож на кита. И если ты спросишь меня, на какого именно кита из синей книжки, я скажу: на кита Фин-Бака. Он точно был не из китов с тридцать четвертой страницы: у тех китов слишком маленькая глотка, они не смогли бы проглотить столько людей. Это и не кит с клювом со страницы пятьдесят шесть, у которого бутылочный нос. А вот Фин-Бак – да. В желудке Фин-Бака пять или даже шесть кают. В каждой из них с легкостью поместятся несколько застолий. И главное: Фин-Бак дышит воздухом, поэтому в его голове запасная каюта, воздушная, – перед тем как проглотить, кит помещает тебя в воздушную каюту. А потом, когда придет срок, подплывает в мелкие воды и тихонечко опускает в волну: отправляет тебя на свободу. Но в этот момент ты, конечно, уже совершенно другой человек.

Этот почтовый контейнер был самым настоящим китом с воздушной каютой. И когда я попал внутрь, я увидел: все чрево ржавого контейнера было заставлено ящиками, в каждом ящике были ящички поменьше – и так много раз. И все было полно конвертов – разного размера, разных цветов, была даже компания обернутых в крафтовую бумагу коробок, маленьких и больших. Там были марки всех стран и самых разных рисунков. Там были подписи почерками, буквами и значками, какие только бывают на свете, виданные и невиданные. И все это впервые за многие дни и годы смотрело на свет, стало видимым, перестало быть невидимым. Конечно, ни на одном ящике не было и тени жука.

Несколько ящиков стояли сразу у входа. Я заглянул в один. Здесь лежали открытки, письма в конвертах и без конвертов на разных языках. Я вытащил наугад одну открытку.

1.1

Лилечка. Сейчас я въехал в историю. Думаю, что все мои отпуски в эти праздники уехали. Шел по коридору с разстегнутым воротничком и имел несчастье (мне ведь всегда не везет) налететь на самого барбоса – начальника. Раскатал и отослал к дежурному офицеру. Доложил и теперь жду последствий. Думаю, что до субботы все выяснится. Если позволите, буду звонить часов в 6 в этот день Вам. Ваш Коля. 17 ноября 1916 года¹.

¹ Все письма, за редкими исключениями, были найдены на блошиных рынках или в онлайн-магазинах. Они публикуются с сокращениями и с сохранением авторской орфографии и пунктуации. (Здесь и далее – примеч. авт.)

3.9

Я пошел дальше по контейнеру. Я увидел: там, дальше, горит свет и много людей. Несколько ящиков с письмами сдвинуты, на них – полосы «Комсомольской правды». Такой невысокий стол, накрытый печатной скатертью. Люди сидели вокруг ящиков в тесном кружке, в два ряда. На ящиках стояло несколько бутылок: «Путинка», «Арарат», какое-то вино и сок «Добрый», томатный, ненавидимый мной. Нарезан хлеб, несколько чахлых фрагментов помидора. Рыбные консервы, пачка майонеза «Ряба». Но в глаза бросалось главное блюдо – серо-фиолетовые расплывающиеся предметы, то ли мясо, то ли овощи, лежащие в одноразовых тарелочках. От них шел пар.

Я включил диктофон и записал почти все, что происходило. Так что эту историю ты можешь узнать не в пересказе, а что диктофон не передает, я объясню.

«О, а вот пресса, ебушки-воробушки, ничоси шнобель, еврей, что ли? Да не ссы, проходи, “Всегдашняя Россия”, не смущайся. Людочка, а посадите молодежь», – сказал визгливый с присвистом голос тучного человека.

Тучный сидел во главе стола, в сером пиджаке и в розовой рубашке, вылезавшей из штанов, узел его малинового галстука уже был ослаблен. «Прошу любить и жаловать, Костянка Анатолий Эрнстович, директор охраны, так сказать, этой богадельни богоспасаемой». Он протянул мне мокрую мягкую ладонь.

Меня посадили слева от него. «Россию любишь, журик? Президента чтить?» – я нелепо кивнул: «Да, конечно». – «Да не потейте, журналист, это я для порядка, какие варианты, мы все едины».

Я, видимо, пришел далеко не к началу праздника, его участники были уже пьяны. Костянка на время забыл обо мне и предложил «по двадцать второй, за слабый пол, стоймя». Женщины засмеялись, все стали благодарить «нашего дорогого». Женщин в контейнере было сильно больше, чем мужчин. Громко играло радио «Русская дача» – помимо нашей информационной «России всегда», разрешены три развлекательные радиостанции. Музыка в эфире перемежалась анекдотами и гороскопами.

«А вот еще, похудительный анекдот от нашего слушателя из Иркутска:

Муж, придя домой, спрашивает у жены:

– Что этот мужик делает в моей кровати?

Жена, курия в форточку на кухне:

– Чу-де-са!»

Выпили еще. «Пресса, знакомься, Кувшинникова Инна Игоревна, наша героиня вечера, так сказать. Сиди-сиди, пионер носатый, – заговорил со мной Костянка. – Вот кому мы обязаны и праздником, и премией, и, чего уж там, денежкой. Вот кто нашел кубатуру эту. Инночка Игоревна, встань во весь рост, покажи статью свою богатырскую, расскажи прессе, что да как». Инна Игоревна была большой женщиной, с глубоким вязким голосом, конец каждой своей фразы она обозначала смешком. Я встал на цыпочки и поднес к ее рту диктофон. Она величаво, но со смешками рассказала, как искала какую-то документацию, устроила инвентаризацию, шарилась по старым контейнерам и вдруг в этом, «вот прям в этом, ха», нашла старые посылки и письма. На каждое третье слово она говорила «ха» – то ли смешок, то ли фрагмент кашля. Из ее рассказа я понял, что после находки начальство разрешило устроить праздник и здесь собрались охранники склада, администраторы, их друзья и даже один почтальон (Йося младший, как его здесь называли).

«Гороскоп предсказывает Стрельцу ловушки на пути к цели. Искрящийся взгляд и вдохновенная улыбка – вот чего вам не хватает. Вас пригласят в элитарное общество, где следует во всей красе проявить свои таланты». «Сегодня в офисе бросила пару таблеток виагры в

общий кофейник. Купалась в комплиментах. Завтра брошу четыре». Я подумал – не об этом ли обволакивании говорил гигант в тулупчике на обломках старой ограды.

Меня стали угощать – в деревянную стопку налили «Путинку», засунули в рот чахлый помидор, положили на тарелку дымящиеся серо-фиолетовые предметы. Я спросил, что это. «А это, милый ты мой человек, на-ше специальное блюдо, уникальное предложение», – про-свистел Костянка, уже сильно хмельной и икавший. Иногда он вдруг поднимал указательный палец, приглашая всех прислушаться к тому, что передает радио. После каждого анекдота очень громко смеялся.

«Два шофера:

– А ты какой резиной пользуешься?

– Зимней, шипованной!

– Бедная Наташка».

«Рыбам необходимо продумать этот день до тонкостей. Оградите себя от негатива во всех его проявлениях. Иллюзии в любовной сфере следует исключить».

«Слышали! Исключить иллюзии, рыбка моя! Ксюха, ублажи-ка нашего гостя». Из темноты вышла маленькая улыбчивая китайка и на ломаном русском объяснила мне, что блюдо на моей тарелке – ее работа: она весь вечер варила и жарила в жиру цветы лотоса по рецепту бабушки.

– Бабушки! – поднял палец Костянка. – Ксюха, ее на самом деле Ксиаожи или что-то такое зовут, но заебешься язык ломать, поэтому она у нас Ксюха, так вот, косоглазик у нас на все руки мастер. Вроде как просто второй кассир, а многое может, гибкая она у нас, – заготовил он. Наклонившись ко мне и плюясь мне в ухо, он стал жарко шептать: – Она такое в подсобке вытворяет, закачаешься, подползи к ней потом, мне не жалко, гляди: лыбится на тебя.

Кувшинникова своим басом перебила этот шепот: «Ксиаожи у нас, между прочим, не только котлетки из лотоса делает, ха, но и сладости, корневища засахаривает – и пожалуйста, упасть не встать. У нас этот лотос, честно, уже из носа лезет, мы его и в чай добавляем, и в салатiki, ха, привыкли, уже как будто внутри меня живет», и она рассмеялась.

«Ты, короче, журналист, сделай, чтоб все в лучшем виде было, про тружеников настоящих, про инновации эти, а то негатива на нас сам знаешь сколько шепчут», – залез мне почти в ухо своими влажными губами Костянка.

– Можно записать ваш рассказ или лучше еще Инны Игоревны?

– Да погоди ты записывать, работа успеется. Давай лучше по-человечески, по-нашему отметим.

Потом был тост «за нас, сотрудников тыла». Станцию переключили, теперь играло радио «Фазенда», и женский голос кричал с отчаянием:

Верная, верная я у тебя такая первая,

Себя не понимая, ну кто, кто я такая?

Скажи, зачем делаешь больно?

И я собой так недовольна,

Я у пропасти, к черту тонкости.

Потом целовали почетную грамоту, выданную департаментом. Потом заставили меня надеть форму почтальона («Только никому – тсс-с!»), все смеялись, что она больше на два размера, чем нужно. Потом целовали флаг. Потом сделали музыку погромче, и начались танцы, прямо на столе. Хором пели «Ты теплый хлеб мой, огонь ты и вода». Первая кассирша в расстегнутой блузе целовала в углу молодого почтальона Йосю, было ясно, что она его сейчас съест, но он был так пьян, что, вероятно, уже не мог ничего чувствовать, иногда подвывал. Хором пели «Я никогда не боялась темноты. / Я с ней давно и развязано на “ты”. / Но ты на пятьдесят оттенков темней. / Ты не подходишь мне. / Просто отпусти мою ладонь».

Из хора вылез крик Костянки: «Всё, хорош, заканчиваем официальную программу. Есть вопросы? Нет вопросов. Серафим, выходи на сцену». Потом снова закричал: «Фима, Фима, блядь, ты где?» Внезапно из темноты выступил карлик в строительном комбинезоне и влез на ящик.

«Давай, Фима, про родину херачь!» Все стали кричать в два слога: «Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Да-вай! Да-вай! Да-вай!». – «Ну, уговорили», – сказал Серафим, – «Дементьев. “Стихи о России”. Только тихо все!»

Проходят года над моею страной.
Проходят года над великой судьбой,
И если мы в жизни чего-нибудь стоим,
То лишь потому, что мы сердцем с тобой.
Такое прекрасное имя – Россия!
Она нам свой добрый характер дала.
Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила,
Чтоб вечно Россия счастливой была.

Все зааплодировали, Кувшинникова прослезилась, радио снова выкрутили на полную, из него полилась «Только водка на столе...», воцарилась сумятица. Те, кто мог двигаться, вскочили на доски, положенные поверх коробок, на сами коробки, проваливаясь, как в снежный наст, в бумажные залежи, с визгом вытаскивая ноги, разбрасывая бумажные брызги. Это был танец, парный, общий, одинокий, хоровод, со скидыванием рук, перекрикиванием музыки. Костянка сидел со спущенными штанами, перед ним на коленях стояла китаянка, умеющая готовить лотос. Все плыло перед моими глазами, огромная женщина рядом со мной вплотную подошла к кассирше и, прижавшись, стала ритмично бить ее по лицу своей грудью в бирюзовом бюстгальтере.

Запахи смешивались и несли куда-то, мне казалось, что я теряю сознание, сквозь чад я видел, как ко мне придвигается расплзающееся лицо с салатом вместо волос, лицо китаянки, превращающееся в лотос и обратно. Я зажмурился – кажется, навсегда. Запах стал меняться. Я почувствовал жар. Открыв глаза, я увидел огонь, услышал, как Кувшинникова кричит: «Новая порция, ребятушки, будем греться!» Посреди контейнера в гигантском чане развели костер, на стенки чана поставили решетку с кусочками лотоса.

«Бросайте дровишки, братцы, зажжем по-нашему, ночь моя, добавь огня!»

«Зажигай» – закричали сразу несколько голосов. В чан стали вытряхивать коробки, бросать открытки, конверты, письма, большие, маленькие, они горели быстро, контейнер наполнился летающими кусочками бумаги, ко мне под ноги упал обугленный листок. Я поднял его: черно-белая фотография, человек в мундире стоит вполоборота, держит в левой руке перчатки, его ботинки и орденские кресты блестят, головы уже нет. На его правое плечо опирается женщина, кажется в черной шали, она выше его, ее лицо огонь не успел повредить.

1.2

*A nuestra querida amiga Conch Vara Etiam este pequeño recuer sus amigos
Ramon y Carmen Madrid 1919*

3.10

Там, кажется, было что-то еще, но это уже было прочесть нельзя. «А мне летать охота!» – закричал путавшийся в спущенных штанах Костянка. Он взял первое попавшееся письмо из ближайшей коробки, сложил его и сделал самолетик. Кто-то начал мастерить самокрутки; женщину в бирюзовом бюстгальтере, вымазав чем-то липким, поставили в центр круга и стали обклеивать бумагой, напевая «Мы оденем всю страну, я ебу, ебу, ебу!» и «Мы нарядим елочку, как елду с иголочки».

Вдруг звук радио резко оборвался. Оно замолчало. Треск. Тишина. Треск. Тишина. Снова треск и сразу за ним – мужской голос: «Ого, смотри, получилось! Получилось! Фантастика! Давай, давай ты, Володя».

Тогда радио заговорило уже другим голосом, ниже:

«Простите за беспокойство. Это “Радио NN”, радио хороших новостей. Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.

За последние дни убили себя еще несколько людей, которым не дали обезболивающего.

Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.

За последние месяцы еще несколько детей погибло – те, кого не усыновили люди из других стран».

Контейнер замолчал. Все замерли в тех странных позах, где их застиг голос, будто не сговариваясь решили сыграть в «морская фигура замри». И я тоже. У меня было чувство, будто я уже слышал этот голос, глуховатый, с присвистом, похожий чем-то на колокольный звон, рубленные переходы. А он продолжал:

«Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.

За последнее время еще десятки людей “ненужной ориентации” были избиты, им проткнули головы шампурами, им устроили ласточку, представляйте сами, чего хотите, друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.

Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние недели еще десятки тысяч людей по всей стране были унижены, уничтожены в армии. Друзья, за последние секунды еще несколько тысяч мирных граждан пострадали в войне, которую развязала наша страна».

– Этого не может быть!

– А дым откуда этот?

– Что это вообще за пиздец-то такой?

– Откуда это?

– Какой ужас!

– Что же это делается, Анатолий Эрнстович?

– Это что, шутка?

– Да у нас пожар!

– Какие хорошие новости?

– Да зачем это, зачем это?

– Ну и, и что, бля?

Все кричали, лаяли, перебивая друг друга.

– Выключите эту херню, вы что, все в можайские рвы хотите? – перекрикнул всех Костянка, а голос из радио тек все дальше:

«Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние месяцы в домах престарелых исчезла еще сотня “престарелых” без лекарств и простыней.

Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние минуты еще сотня подростков по всей стране воткнула в вену наркотик, из-за которого они

умрут в ближайший месяц. Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны, миллионы молодых людей, ваших дочерей и сыновей, спрятаны в монастырях и на военных базах – и что с ними делают, никто не знает. Друзья, у меня еще тонна хороших новостей, но когда, черт возьми, мы выйдем на улицы? Я скажу вам когда – 12-го числа, мы все встре...»

Звук оборвался: это я. Это я выкрутил громкость на приемнике до нуля. Стало тихо.

– Они прорвались, они, сукины дети, – завизжал Костянка. – Молодец, носатый, загасил, угандошил падлу. Чтобы никому, никому о том, что мы сигнал поймали, поняли, бляди?

Он схватился за голову и заплакал. Началась неразбериха. Все кричали разом.

«Это все невозможно, понимаешь? – рядом со мной села Кувшинникова. – И ты туда же. Так нельзя нажираться и безобразничать. Я ненавижу наши пьянки, но куда-то надо тоску эту девать, понимаешь, да?» Она вдруг перестала говорить «ха» в конце предложений, стала другой. «Или ты презираешь нас, да? В этих своих ботиночках красивеньких, в рубашечке своей, воротничок этот распушенный еще. А ведь так же бухаешь, так же гимн поешь, так же в свинью превращаешься». – «Совсем нет, я, напротив, это же праздник». Я мямлил. Она прошептала: «А ведь он правду говорил». – «Кто? Костянка?» – «Да какой Костянка! Парень из радио. Это же все так и есть, и про пытки в полиции, вон у моей сестры сына инвалидом сделали, и про лекарства – их же не купишь никакие, помирай как знали». Она вдруг тихо-нечко, как девочка, заплакала. Я неожиданно разозлился. Что мне еще оставалось. «Да какая правда! У нас хорошо все, есть неприятности, страшно бывает, конечно, но бояться не нужно ничего, и в целом, обобщая, это все ложь и так быть не может, да? Мы бы знали, власти бы исправили». – «Да что ты, что ты. Ослик ты. Откуда знали бы? Никто ж не верит ни во что, все вот так и говорят – “не может быть”, “а что мы можем”, только вот между собой по углам и пошепчешься». – «Так кто же это все делает-то, эти ужасы?» – «Мы вместе делаем, мы все, ты, я, вместе все». – «Я? Что я-то, это вы, взрослые, делаете, я тут при чем». – «Нет, мальчик, это мы вместе. Ты, кстати, уже не маленький, знаешь об этом? Ты меня, может, постарше будешь».

Я взгляделся в нее, в разъехавшееся, освободившееся от косметики лицо – она была права, мы были ровесниками, она могла сидеть со мной за одной партой. «А ты думаешь, откуда этот изумрудный все взял? Из головы выдумал? Это я и такие, как я, никому не нужные, никому не видимые, хотя мы всегда перед глазами, замотанные ветошью, это мы ему рассказываем, собираем записочки, шепотом пишем имена, тихонько, по углам, по темноте, узнаем, передаем, собираем – про пропавших, про убитых, а эти уже дальше все в один кулак собирают, в свои книги и списки, и рассказывают на своей несуществующей волне имена, истории. Что смотришь? Мне не страшно – рассказывай, доноси, мне уже все».

Она что-то продолжала говорить. Мне было все сложнее ее расслышать: вокруг кричали, и визжали, и свистели, и рыдали, и все эти звуки вдруг слились в один возглас: «Горим, сука!» Контейнер был полон дыма, по нему носились тени, в правом углу полыхал огонь. Я вскочил. Кувшинникова схватила мою руку. «Подожди, парень. Ты письма возьми. А то ведь пожгут все. Это же люди писали, старались, наверное, любили, как и мы».

На нас налетело сразу несколько человек, все пытались пробиться к выходу из контейнера. Мне в живот врезалось что-то мягкое – это был карлик Серафим. Зло глядя мне в глаза, он крикнул: «Спасай бухло, хуйло носатое, и сдрисни, угоришь, обморок». Я вышел из оцепенения, схватил бутылку, выронил ее. Схватил другую. Засунул в сумку. Споткнулся о ящик. Упал на пол. На меня кто-то наступил. Потом еще и еще. Я попробовал встать, ползком пробирался к выходу. Кто-то кричал: «Выносите всё, документы, бухгалтерию спасайте». Наконец мне удалось встать. Я схватил первые попавшиеся папки с письмами, сразу много, едва запихнул их в сумку. Валявшиеся на полу открытки, отдельные листочки распихал по карманам, одним махом прочитал записку с убегаящим почерком:

1.3

*А я все жду и жду карточку. И еще подожду. Авось и обо мне вспомните.
Коля. 4 февраля 1917 года.*

3.11

Схватил еще несколько из той же пачки. И выскочил из контейнера. Так я попал в историю.

2.3

Я стою в трусах и в майке, синих (цвета раскрашенных ручкой густых усов Ленина в «Родной речи») трусах и в бурой (цвета подливы, будь проклято это слово и эта смесь) майке – таких же, как у Павлика, Женька и Димона Прыщ-на-ноге. Чудовищно холодно, мои колени с ссадинами тоже скоро станут синими. Из столовой опять тянет вареными сосисками.

У Вики Зубастой и у Тани Большая Жопа тоже синие трусы и бурые майки.

У всех синие трусы и бурые майки.

Голые колени с ссадинами, голые пухлые или острые локти, голые плечи с впадинками от прививок, у Толстожопика даже ползадницы видно, трусы сползают.

Только Терминатор не голая. У Терминатора алый костюм «СССР», застегнутый на серебряную молнию, штаны до самых пят. Тела ее не видно, хотя Серега Ловчилла, у которого алое пятно на левой щеке, говорит, что видно – «грудь у нее закачаешься». К этой груди слева приколот маленький конькобежец. У Терминатора волосы собраны в хвост, зубы строгие, справа и слева золотые. У нее руки на ширине плеч. Все, началось, команда: «По кругу, марш».

Холодно. Пахнет понедельником.

«Филипп Кполуприлип, подтянулся, я сказала. Жопу подними, обморок. Глухомань Мартын, слюни подотри, гадом растешь балованным. Кристопротопова, куда села? Какая еще коленка, встала, пошла, встала. Пошла».

В раздевалке Павлик (он старше всех – ему почти четырнадцать) подошел ко мне и сказал: на хор не идем, на хер хор, в овраг идем.

В «Продуктах», царстве мух и тропической неги, мы купили упаковку петард, кефир и у Аленки бутылку «красоты». Аленка – добрая, сама недавняя выпускница нашей школы, поэтому с ней проблем не бывает – и бутылку продает, и правую сиску показывает, если добавить немного сверху: «Скучно мне, ребятки».

В овраге черемуха, холодно и ветер в лицо. Димон Мочилла открывает кефир, одним глотком отпивает почти полбутылки и наливает в нее полбутылки «красоты». Пускает коктейль по кругу. Я быстро сооружаю костер, мы бросаем в него петарды: доблесть – не отбегать от костра далеко. Выпив смесь кефира с «красотой», мы поднимаемся по склону. По очереди на дальность скатываемся кубарем вниз и снова поднимаемся. Я скатился, поднял голову и увидел, как наверху Женек странно сгорбился и трясет головой. Кричит: «Давай к нам, Мартын!»

На той стороне, через овраг от школы, здание старой тюрьмы. По назначению она уже не используется, прутья железного забора там и тут согнуты, колючая проволока провисает. Мы проскальзываем между прутьями и жжем костры, внутрь здания зайти не решаемся. Хотя тюрьма давно не тюрьма, а полуразрушенная коробка с пустыми глазницами, нам страшно, об этих местах ходит жуткая слава.

– Смотри, какая баба-яга выползла, – кричат друзья, показывая на бесформенный узелок тряпья с торчащей из него палкой.

Я подхожу ближе – узелок тряпья оборачивается старухой с деревянной тростью. Зеленый плащ с пришивленной на груди брошью. Удивительно уродлива. Длинный кривой нос, готовый упереться в землю, худые скрюченные пальцы, сжимающие клюку, сморщенное лицо. Она похожа на скукожившуюся от засухи страницу из учебника по географии или сохшую оливу из Гефсиманского сада. Она скользит, хромает, переваливается, как будто на ногах у нее не потрепанные башмачки, а поломанные деревянные колеса. Женек похоже изображает ее – вот он качается из стороны в сторону, склоняется в три погибели, трясет головой

и ныряет носом в пыль и мусор, по дороге успевая бросать камешки и приговаривать «цып-цып-цып». Этого старуха не делает, но в свободной от трости руке держит клетку с черной маленькой птицей. Ковыряя тростью в земле, бормочет: «Плохая травка, плохая, не те, не те корешки, не та трава, нет травы, только камни, нет травки, сухая, сухая хвоя, нет корешков, нет...» Мы подходим поближе («Вы чего, вдруг заразная!» – кричит Филипп), беремся за руки и ведем хоровод вокруг нее, припевая: «Каравай-каравай, бабка мужа выбирай». Старуха не обращает на нас внимания. Она уже не ищет чего-то в траве, а, застыв, как будто играя в «морская фигура замри», смотрит на окна бывшей тюрьмы. Раздухарившись, мы собираем мелкие камушки – тот, кто попадет прямо в клетку с птицей, победит. Птица, когда камушки попадают в нее, вздрагивает и глухо клокочет. Это быстро надоедает, и мы опять танцуем вокруг старухи, громко кричим. «Она глухая еще больше, чем Мартын, мужики», – шепчет Филипп. Помню, что пока мы кружимся вокруг нее, я кричу ей в самое ухо: «Не трясись так мерзко головой, шея обломится, голова отвалится, носом в камнях дырки наделаешь, провалишься сквозь землю».

Друзья кружатся вокруг старухи, а я вдруг придумываю такой фокус: кладу оставшиеся петарды в пустую бутылку из-под «красоты», привязываю к ее горлышку ржавую проволоку. «Небывалый номер! Торжественный выход! Сейчас вы увидите древнюю царицу в шлейфе фейерверка!» – декламирую я и, подкравшись к старухе, цепляю к краю ее выцветшего болотного плаща проволоку. Я не успеваю бросить в бутылку зажженную спичку: старуха внезапно поворачивается ко мне, стоящему на коленях, и говорит спокойным, прокуренным, низким голосом: «Будьте добры. Отойдите от меня».

Мы все замерли.

Она двигается на меня, я приподнимаюсь. Наш «хоровод» распадается, мы пятимся назад. Глядя поверх наших голов, она медленно ковыляет, и бутылка со звоном ударяется о камни, ковыляет за ней. Подойдя совсем близко ко мне, она протягивает сухой кулачок к моему лицу, резко раскрывает его: в ладони лежит какая-то травка. Запах травки поглощает меня. Старуха опять сжимает ладонь в кулак и смотрит прямо на меня: «Ты такой трусливый, но это ничего. Встретимся еще, молодой человек, встретимся еще – надо же тебе знать какое-нибудь ремесло, может, и поучишься, и пригодишься». И она идет дальше, шаркая башмаками, звеня бутылкой, и скоро сворачивает за угол тюремной ограды.

Мы садимся у края оврага. Молчим. Охваченный дрожью, я утыкаюсь глазами в землю, но чувствую, что все косятся на меня. И еще слышу внутри себя новые звуки и ощущения – будто заложено горло, нёбо ватное, страшный холод в костях. Посреди жаркого дня я страшно мерзну, сердце колотит, будто все оно в крошках, которые клюют птицы. Я приподнимаю голову и отчетливо, во всех мелочах, вижу склон каменистого оврага – лежащий в кустах черемухи продавленный мячик, сломанный костыль, облезлую палку с набалдашником, ошметок женского платья.

Я был околдован, уколот стыдом и внезапным состраданием, я был обморожен и покрылся хвойной дрожью, я дрожал от жалости, от которой не защитит рыбий жир. Я заплакал.

«Ху-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уй, – кричит Павлик, – хорош реветь! Рёва! Чего ты из-за старухи так обоссался, смотри, энурез начнется!»

«Айда кататься», – кричит Филипп, и я ловлю сильный удар в спину и, не успев сгруппироваться, качусь со склона.

Я лежу на дне оврага. Надо мной стоят ребята, голова чуть выше виска гудит невыносимо, спина звенит осколками фарфорового чайника.

«Ну ни хера ж себе носяра вырос. Это шишка, что ли, такая? На камень небось напорлся», – слышу, как шепчет Филипп.

Помолчали.

Снова помолчали.

– Все-таки живой, – слышу голос Павлика, – и хорошо.

– Но нос-то как вылез.

– Он теперь Мартын Ухо-Горло-Нос! Король Лор, короче!

Я пробую пощупать нос, он сухой, кривой и длинный, как засохшая ветка. Больше всего на свете я хочу спать, я готов спать год, нет, десять, нет, тридцать лет, тридцать лет и три года. Прежде чем потерять сознание, я слышу: «Сходили на хор, блядь».

3.12

О «Радио NN» я знал давно. Шептали, будто где-то то ли в Северном Ледовитом, то ли в Тихом океане, то ли на подлодке, то ли на дрейфующей платформе работает секретная радиостанция. Будто она голос неведомой команды сопротивления, так называемых изумрудных людей, сидящих в подполье и готовящих переворот. Их никто не видел. Только изредка из официальных новостных сводок можно было понять, что они есть и действуют. Например, сообщалось об успешном рейде частных казачьих дружин, арестовавших, благодаря бдительности гражданских лиц, «очередных блудливых сынов отечества, так называемых изумрудных». Из-за того, что одно из самых громких таких дел – «расстрел отступников» – было объяснено растратой драгоценных камней, которые государство намеревалось раздать сотрудникам заводов, эти враги стали называться изумрудными. В городе шушукались, что, несмотря на аресты, на бдительность частных лиц и спецслужб, эта сила не только не исчезает, но растет. Шептали, что они группируются вокруг радиостанции и что именно с помощью подпольного радио мы все узнаём, «что делать и когда придет час».

Слухи расходились от тех, кто случайно слышал голоса этого радио. Поймать его сигнал невозможно. Он не способен прорваться на «Россию всегда», но умеет внезапно влезать на волны государственных развлекательных станций. У нас в редакции прославились двое сотрудников, которые слышали такой эфир: собираясь в курилке, мы намеками просили их исполнить пластинку, и они снова и снова важным шепотом рассказывали, как внезапно эфир «Русской дачи» прервался и около двух минут взволнованный голос говорил о бунтах на юге страны, его сменила запрещенная к исполнению песня «Мне так бы хотелось, хотелось бы мне», а потом она замолкла на полуслове, и вернулся обычный эфир – будто ничего и не было. Всех завораживали такие истории. И потому, что это было страшно. И потому, что это было запрещено, а значит, опасно. И потому, что больше ниоткуда нельзя было услышать ни такой музыки, ни таких новостей. Сарафанное радио глухих слухов почти умерло – оно приводило к аресту за паникерство и дезинформацию населения. А «Россия всегда» из радиоточек сообщала только об успехах, победах над врагами и об ужасах, от которых оберегает правительство. На трех развлекательных радиостанциях исполнялись песни – из одобренного Росмузконцертом списка, интернет суверенный, доступ к нему – только по карточкам, границы работают только на выезд и за огромные деньги, запись в библиотеки – по специальным справкам.

Теперь это радио слышали в разоренном контейнере на почтовом складе.

Вчерашние события постепенно всплывали в голове, заполняя мою небольшую комнату лицами, матом, криками, огнем и дымом.

Я опять встал поздно, была середина дня. Раскалывалась на два полушария голова, во рту я чувствовал густой привкус гари и лотоса, хотелось пить. Все мои движения существовали отдельно от меня, они были медленны и, кажется, красивы, но случайны. В воздухе жил особенный тихий свет, который бывает в конце апреля.

В детстве была игра: «Запиши буквами голоса наших птиц». Это была весенняя игра, как раз тихим апрельским светом. Так и сейчас я слышу: «тень-тинь-тянь». Повторение коротких, четких звуков, звонких звуков. Кто это, угадаешь? Давай еще разок: «тень-тинь-тянь» и дальше «тюнь-тень-тинь-тинь». Узнала? Это пеночка-теньковка, повторение коротких звонких звуков, звонких звуков. Это благодаря им я могу понимать речь, это они – а, е, и, о, у, ы, э – мои друзья, гласные звуки, низкочастотные звуки. Но без аппарата я не слышу высоких частот, согласные, мои враги, сбивают меня, не дают отличить одни слова от других. Мне не нравятся согласные. Я не могу понять такие слова, как «фокус», «стих» или «счастье». Так мне объяснил дедушка, так ему объяснили врачи. Но это дарит секретное преимущество – я додумываю другие слова, все звуки рождают во мне миллиарды других ситуаций, все они живут в воображении. И моему

собеседнику будет казаться, что я его отлично понял, и он даже не узнает, что понял я что-то абсолютно другое, и никогда не догадается, что мы на разных станциях и волнах. Но я думаю, что так живу не только я, – я уверен, что так живут все: никто не понимает другого дословно, все переводят другого на свои языки и волны, отсюда так страшно и так счастливо.

«Тинь-тянь» – тиннитус, звон в ушах. Так они называли это – и я думал всегда, что это голос пеночки-теньковки транскрибируют врачи своей тайнописью на жеванных оловянных стеклянных деревянных прозрачных листочках диагнозов: «Имеющийся у ребенка синдром дефицита внимания с гиперактивностью способен привести к непониманию речи, так как головной мозг в этом случае активно участвует в восприятии всех поступающих импульсов, которые не дают ему сосредоточиться на чем-то одном, ношение слухового аппарата поспособствует лучшей сосредоточенности на разговоре, скомпенсирует тиннитус».

«Тень-тинь-тянь-тюнь-тень-тинь-тинь». Вот он прозрачный апрельский свет и пеночка. Всё как всегда, как при дедушке.

В похмелье есть несколько чудес. При определенном таланте за годы тренировок ты научишься выходить из себя – в хорошем смысле, – то есть отстраняться от себя самого. Видеть со стороны, сверху. Лежать или стоять рядом и с интересом рассматривать. Второе чудо – время меняет свои правила, оно может, например, растягиваться. И тогда ты, затаив дыхание на много лет, рассматриваешь свои многочисленные пылинки, примечаешь седину, видишь себя, смотрящего в окно в разные часы будней и выходных, старающегося определить, какое время суток дает идеальное сочетание света и тени на тебе самом, и все это и другое – для того, чтобы лучше понять, какой ты зверь. Сегодня я снова смог это сделать, выйти из себя. И увидеть в этом апрельском свете – вот я лежу серый и голый, как кора у заоконных тополей.

В школе – худой, сутулый, черноволосый, родинка на правой щеке, длинная шея, шрам над правой бровью. Сегодня – худой, сутулый, родинка на правой щеке, щетина, черноволосый, но с сединой. Шеи почти никакой. Длинный нос. И что я помню?

Крест-шрам на ладони папы, седую прядь мамы, щекочущую мою щеку, шаркающие шаги бабушки, сосновые ветви, завтраки дедушки, школьный овраг, их всеобщие смерти, какое-то лечение, жизнеобеспечение, попечение, на плите куренье с приятным запахом, дым до головокружения, и вот я живу в маленькой комнате своей когда-то квартиры с Тamarой, ее завтраками и супом, с зайцем. С голубоватым дымом, синдромом неначавшейся жизни. Тинь-тянь.

Голова уже болит не так, свет меняется, перестает интересоваться мной, из комнаты вылетают птицы и врачебные листочки из детства. В комнате поселяется вчерашний вечер с огнем и лотосом.

На стуле лежит форма почтальона, я так и убежал в ней. От нее пахнет гарью. На стуле – связка писем. Вот брюки, комком на полу, на них темные пятна от вина. Все это было: и пожар, и пьянка, и Дементьев, прочитанный карликом Серафимом. Я поднял рубашку, брошенную в забыты, и под ней увидел еще одну связку бумаг и папок разного цвета.

Из фарфоровой чашки с отбитыми краешками я выпил наваристый Тамарин суп, заел куском орехового травянистого пирога, вставил аппаратик и соединил его с иглой в ухе, стал слушать радиоточку. Сперва речь шла об успехах в монетизации регионов, затем Пятница рассказал об успехах Федеральной службы охраны России, задержавших «диггеров и бомжа-проводницу» при попытке пройти в Кремль по канализации: «Сотрудники вечером 14 апреля задержали трех нарушителей подземного мира столицы. Молодым людям в сопровождении женщины без определенного места жительства и возраста почти удалось дойти по канализационным ответвлениям до сердца страны – Кремля. Правоохранители провели с молодыми людьми разъяснительную беседу. В скором времени нарушителей отпустят на свободу, один из них скончался на месте. Бояться не нужно ничего».

В забытии я докурил сигарету, пепел упал на голое колено. Я встал, дернул за рукав куртки на спинке стула, стул качнулся, дымная папка с почты соскользнула на пол, письмо – длинное, четыре-пять страниц – выглянуло из папки. Я целиком прочитал его. Есть еще второе – от того же человека, неясно кому, адреса я не нашел. Есть несколько фраз, на которые ты точно обратишь внимание, хотя читать его сложно. Но не из-за того, что отдельные слова я не смог разобрать, и не из-за того, что очень быстро почувствовал себя безымянным человеком К.

1.4

*Прочитай его вечером, когда будешь одна с собой!
8 декабря, 1913. Рига.*

Дорогой мой!

Год тому назад или даже 2 писал я тебе в последний раз. Все ждал какого-нибудь Lebenszeichen от Тебя, но нет, напрасно! – и теперь опять пишу Тебе, но уже не надеюсь на какой-либо ответ. Нет у Тебя слов для меня, слов, к. исходили бы от Твоей души. Не думай, что я упрекаю Тебя, я так далек от этого, да и ведь никакого права не имею я делать этого.

Время не стирает воспоминаний, забываешь только дурное, тяжелое, а все хорошее, светлое, живет в памяти. Я постоянно вспоминаю тебя. И странно. Две жизни у меня. Одна надежная, настоящая, какой живем мы все, с маленькими житейскими интересами, дразнами и т. д., и другая, куда не проникает даже близкий человек (но существование ее чувствует инстинктом), жизнь воспоминаний (знаешь, иногда оставляют комнату умершего близкого человека в том же порядке, как при его жизни, не трогая с места ни одной вещи – это то же, о чем я говорю), и стоит мне остаться одному, со своими мыслями, как сейчас, как лента кинематографа – предомной прошлое...

Была у меня госпожа Раст. Рассказывала много о Тебе, о Твоем здоровье, т. е. она, в сущности, ничего не могла мне сказать о Тебе, только общие места, короткий разговор. Но она меня сильно взволновала одним своим сообщением, то есть все же тоненькая нить протянулась от Тебя ко мне. И появилось у меня болезненное желание видеть Тебя, посмотреть в Твое милое лицо, услышать Твой голос, посмотреть на Любочку, к. совсем забыла меня и для к. мое имя пустой звук. Теперь я один – жена моя в Москве, я пишу тебе; в другое время я писать не могу не потому, что не смею, а потому, что не хочу косых взглядов, злых усмешек и пр. К чему мне это, а тайком, как вор, за спиной, считаю недостойным, раз я не делаю ничего дурного.

Ничего не знаю о Тебе, буквально ничего, как будто Тебя нет в живых, да и откуда знать мне? Жена никогда ничего не говорит, я не спрашиваю, все же она в Москве. Кое-кто слышал о Тебе, ведь есть же общие знакомые, бываешь же ты на улице, в театрах и пр. Но, повторюсь, я ничего не слышу ни от кого о Тебе или о Любе... Люба редко, редко пишет наивную, холодную открытку.

А ведь есть у Тебя жизнь, и близкие люди, ведь мыслишь, чувствуешь, живешь же Ты и жила эти 10 лет, как мы расстались. 10 лет! А между тем как будто все вчера было, не вернется...

Что мне писать о себе? Живу в Риге безвылазно, скучной, нудной, серой жизнью, без работы, без интересов. Ничего не вижу впереди, ничего нет в настоящем. Гнусный, паршивый городишко, противные люди, маленькие интересы – пиво, сплетни, зависть, дразни. Никого я не знаю. И не хочу знать. Интимных знакомых нет – чужих людей в свой дом на пушечный выстрел не подпускаю, и счастлив, что жена моя одинаково мыслит со мной. В театре ни разу не был, целый день сижу дома. Живем в той же квартире – неудачна она, но стоит бы [нрзб] моих аппаратов много. Работаю. Практика идет вяло, аппараты выручают. Делаю прекрасные

снимки Рентген. Специализировался на болезнях сердца и легких. Много посылают мне больных товарищи русские врачи – я член 3-х обществ, 2-х врачебных (Общество Русск. Врачей и Общество Врачей Рижского Взморья) и Русск. Клуба. Но в последний не хочу, там водка и карты, я же буквально ничего не пью и лет 8 не беру в руки карты. До 2-х больные, 2 часа обед, 6–7 опять прием, электризация, массаж и т. д., 8 ч. ужин. Так проходит день, один, как другой. Работа не удовлетворяет меня, все идет машинально, больные надоели давно, утомляют меня, надувают понемногу меня, все больше беднота – богатых вообще в Риге мало, всё чиновники, немцы, приказчики и др. Немцы завидуют моему черствому куску хлеба – интригуют, сплетничают, а материала для того в моем прошлом довольно – все это неизбежно, но я плюю на все это.

Дочь моя, Верочка, или, как я ее называю, Зяба, растет – ей 8-й год, большая девочка, учится, говорит по-немецки, пишет, читает. Взяли ей бонни, очень удачную немку (3-я по счету). Первая была латышка, с ужасным прононсом, глухая и слепая, прямо не знаю, как она ее взяла, ее водить самому нужно было, не только поручать ребенка. Кончилось тем, что наши прислуги нарочно напоили ее в наше отсутствие (мы застали вернувшись домой отвратительную картину: стерву эту рвало, она охала, плакала, конечно выгнали вон. 2-я прожила 2 недели, была еще лучше: ночью с молодой горничной нашей уходила «гулять» на пляж до утра. Соседи рассказали, пришлось тоже расстаться).

Этой весной я пережил ужасное время. Мой ребенок вдруг заболел обыкновенной ангиной, до этого он никогда не хворал. Полоскать не хотел, не хотелось его мучить насильственными мерами. Потом яд по-видимому распространился по крови – заболели суставы, как у Любы, появилась кровавая моча (воспален. почек), ребенок прямо умирал, лежал пластом, не реагируя ни на что. ¹/₄ месяца я жил в страхе за него. 38,5–39,5, я был в отчаянии, звал десятки докторов, но здесь все такая дрянь, это не Москва или университетский город, я рыдал и убивался, как ребенок в отчаянии. Наконец, мало по малу, все прошло, в конце июня я мог перевести его только на дачу (похудавшего, как спичку), чтобы он поправился. Но все же д.с.п. я боюсь и тряусь над его здоровьем. Если бы он умер, я тоже не захотел бы жить, так я к нему привязался, и так он меня любит, я ведь его выходил маленького, и д.с.п. он спит рядом со мной и держит всегда, даже ночью, меня за руку – иначе не заснет. Несчастен тот, кто любит – лучше ничего не знать и не привязываться. И так д.с.п. не выяснено, не была ли это скарлатина без сыпи. Мать тоже горевала, но меньше моего. Есть такие счастливые натуры.

У моей девочки большой талант к рисованию, я его разовью у ней, мы вечно вымазаны в краске и чернилах с ней. Я все боюсь заразить ее, хотя не бывает совсем заразных, все же чахоточных много. Сам боюсь заразиться, здоровье и у меня не особенно важное после СПБ. га.

Сам я постарел, конечно, мне ведь идет 41-й год, поседел немного, хотя больше облысел, совсем *Schlichtes Head* (помню, Ты так говорила). Зачесываю, стараюсь скрыть этот дефект. Вообще, я стараюсь меньше смотреть в зеркало, тяжело сознаваться, что молодость безвозвратно ушла.

Отношений к садовникам у меня ровно никаких, и, по-видимому, никогда не будет. Жена получает в год около 2-х тысяч на это + мой заработок мы живем. Живем безалаберно, как в России, много денег идет на пустяки.

Этим летом сгорела моя лечебница в Майоренгофе. Сгорел почти весь центральный Майоренгоф, вся главная улица Иоменская, к счастью, я увез свои аппараты за 2 дня – не застрахованы, все же сгорела мебель моя и мелочь. Это в лечебницах. А с занимаемой мной дачи нам пришлось буквально бежать – напротив нас все пылало. Хорошо, что днем – а ночью было бы ужасно. Было это 2-го Августа.

Вообще неудачный год был это, 1913-й. Слава Богу, что он кончается.

Из общих знакомых, кроме госпожи Рст, никого не видел, да и кого мне видеть? Удивляюсь, как мало она изменилась, все такое же молодое лицо, все же не видел я ее около 20 лет. Думаю как-нибудь проехаться в Юрьев, тянет меня туда – такое хорошее время прожил я там. Вероятно все иначе стало, да и людей прежних нет, друзей тем более. Вообще, оглядываюсь я назад и должен признаться, что вообще не имел никогда друзей, и не имею их. Вероятно, дурной я человек.

2 часа ночи. Сижусь и думаю над этим письмом, пролетит оно пространство, разделяющее Тебя от меня, Ты возьмешь его в руки и станешь читать. Кусочек моего [нрзб] я во след этих строк войдет в Твой мозг. Немного подумаешь обо мне и забудешь. [нрзб] дня [нрзб] меньше часа, чтобы что-нибудь не напомнило мне Тебя и Любу. Моя Вера если не во всем, но в общем так похожа на Любу. Руки, поворот головы с косичкой, походка, и я постоянно замечаю и думаю об этом. И вот это всегдашнее воспоминание о прошлом и близких становится мучительным.

Счастья нет у меня и не будет никогда. Было оно в прошлом, когда я жил молодой, полной надежд беззаботной жизнью, и так обидно, глупым кажется, то, что я этого не сознавал и не берег всего того, что имел. А какой яркой, пестрой была моя жизнь. Иногда до боли обидно, что не будет, не повторится все это. Прости, я все об одном и том же (?), в прошлом, но оно прошло, и небо скоро заберет его.

Вспоминаю мой сегодняшний трудовой день и приходит [нрзб] и убеждение, что многие хуже меня.

Была у меня сегодня молодая дама с мужем гусаром, снимал я ее, подозрение на рак (грудь одна была удалена 2 ч.т.н.), который распространился в область груди. Богатые люди, любят друг друга, смотрят мне в глаза с тревогой. Огромная раковая железа в груди около сердца, она умрет через 1–1½ года в страшных мучениях. Еще был чахоточный, мелкий помощник из Ковенск. губ., специально ко мне приехал снять свои легкие лучами Рентгена. Тоже молодая жена, легкое одно совсем сгнило, от другого осталась половина.

И такая сцена ежедневно, и притупилось чувство человечности даже во мне, я только думаю о том, что они мне заплатят, нет ни к кому жалости, ни сострадания, и ловлю себя на этом. Привычка, я очень жалею [нрзб], что раньше не взялся за работу. Ведь все дороги были открыты предо мною, приходится удивляться, какие ничтожества как устроились в жизни, а я с большими талантами и способностями не присутствую на пиру жизни, а прозябаю. Хотя хочется только покоя, я был бы счастлив жить где-нибудь в уединении, в уютно обставленном жилище, не иметь забот о насущном хлебе, окружить себя книгами, журналами, не знать никаких больных, ни телефонных звонков, ни кредиторов, и нам мало для этого нужно.

Не могу я привыкнуть к Риге. Сперва она показалась мне родной – [нрзб] родился я здесь и прошло много лет моей жизни в ее стенах. Но проживши и присмотревшись я возненавидел ее. Все здесь мне чуждо – и люди, и стены, и эта мелкая, самодовольная немецкая жизнь, своеобразный их язык, мизерные интересы – об появившемся на бульваре белом воробье писалось (вставка: «в газетах») целую неделю, и дикое отношение к русским – их ненавидят, считают существами низшего порядка, меня довели они до того, что я превратился в какого-то крайнего националиста. У меня вывеска только на русском языке, принципиально не вывешиваю на немецком. С немцами говорю по-русски, хотя от всего этого страдаю. Неужели закончится жизнь моя здесь в этом болоте! Это [нрзб] крупных центров где я жил, и куда забрасывала меня моя судьба. Ты не можешь понять этого, живя постоянно в большом городе...

Живешь днями не выходя из своей квартиры, а если выхожу, то хожу по улицам чужой и чувствую какое-то одиночество. Удивляюсь, как живет здесь со мной моя жена. Все же привыкла она к другой жизни – свободной, богатой, к нарядам, постоянно на улице, в театрах, концертах, своих свободах [нрзб], и теперь она сидит дома. Не шьет себе ничего, не выходит по месяцам, читает, играет на своем [нрзб], играет шахматы, забавляется ребенком и все, и это так давно. Не вытацишь ее на воздух – отражается это на здоровье.

Ездит раза 2–3 в Москву, чувствует себя там чужой среди этих животных, а я совершенно не пользуюсь своей «свободой» за ее отсутствие.

Никем не увлекаюсь. Это плохой признак. Нет такой женищины, из-за которой я бы мог делать теперь глупости. А ведь много женищин, иногда очень красивых, приходят в мой кабинет. Жена страшно ревнует меня к ним и мучится из-за этого.

И я ревнив, очень ревнив, но я скрываю это.

А время идет вперед, все ближе к могиле. Я думаю, и Ты испытываешь часть моих ощущений невеселых, и Твоя жизнь с вечной нервностью. Как Ты живешь, этот вопрос так глубоко интересует меня, не из любопытства, его нет, а из глубокого сочувствия к Тебе, из-за какого-то особенного чувства, которое у меня по отношению к Тебе – не могу сам назвать его. Мне безумно хотелось бы увидеть Тебя в Твоей домашней обстановке, среди знакомых близких мне вещей Твоих, поговорить с Тобой. Не могу забыть я нашего последнего свидания в Майоренгофе, когда отвозил я Тебя на вокзал с Ваней (?), все то, что Ты мне говорила, я помню так ясно – желание это особенно проявляется, когда мне тяжело в силу каких-нибудь обстоятельств – неприятности там [нрзб]. Мысли о Любе тоже терзают до крови мою душу – это самое тяжелое на моей душе и камнем давит меня. Я потерял ее.

На этом лежит какое-то возмездие, в существование которого я верю. Я начинаю иногда ненавидеть настоящее, когда вспоминаю об этом черном пятне моей жизни. Я был бы счастлив иметь уверенность, что она совершенно равнодушна ко мне. Впрочем это, вероятно, так, ведь я не был около нее в том возрасте, когда рождается привязанность и вообще чувства высшего порядка. Я мало, почти совсем не пишу ей – я не могу писать, у меня нет языка к ней, бесконечная жалость к себе и [нрзб] утраченному родному сердцу парализуют мою душу. Поверь мне, Катя, я сейчас плачу горькими слезами, дальше пока писать не могу.

Смешно, право. Подумаешь, у меня есть в живых отец, мать, взрослая дочь, жена, маленький ребенок, в к. я души не чаю, одним словом семья, но я одинок, и чувствую постоянно это одиночество.

Но довольно. Неинтересно Тебе все это. Я хочу думать [нрзб] что Тебя веселят [нрзб] мне, и что счастливей Ты меня. И будь счастлива, милый [нрзб], береги себя, свое здоровье, у Тебя много друзей и любят Тебя люди. Береги Любу, люби ее, владей ее любовью безраздельно.

Вспоминай иногда меня, напоминай Любе обо мне, не забывайте меня совсем.

Хочу думать, что Вам, милым мои, лучше и легче живется. Прощайте, дорогие, милые, мне все кажется, что никогда увижу Вас. К.

3.13

Письмо оглушило меня. То ли мне оно было написано, то ли я его писал. И то и другое было невозможным. Эти слова написаны более ста лет назад, не для меня и не обо мне, но они пробивают дыру во мне, мое здание шатается. Какой-то я во мне пытаюсь освободиться, выйти на волю. И этот другой я мне нравится больше прежнего.

На какие-то клавиши внутри меня нажимает голос этого письма. На те же, что гигант в тулупе? На те же, что миниатюрная пластинка с «Цветущим жасмином»? Как и этому доктору, мне идет сорок первый год. Когда тебе исполняется сорок, закрываются двери комнат, которые ты оставлял открытыми.

Мне хотелось помочь этому К, а может быть, мне хотелось помочь самому себе, не написавшему то письмо. Но с этой помощью я опоздал больше чем на век. Тогда я стал чувствовать себя его наследником. И его наследство уж слишком складно вошло в мою коллекцию переживаний, как долгожданный недостающий экспонат. И начало работать. Мне захотелось скорее кого-нибудь встретить, не быть одному. Я сделал звук радиоточки громче.

«Жители Костромы, чьи родственники скончались в выходной день, вынуждены хранить тела умерших у себя дома до понедельника, поскольку местный морг отказывается принимать покойников. Муниципальные власти рекомендуют, однако, оставаться в жилых помещениях и воздержаться от резких движений в выходные, правительство разбирается с обстановкой и накажет виновных».

«Столичные власти планируют установить в центре своего святого города новый памятник Иосифу Сталину. Копию соответствующего документа опубликовал муниципальный глава комитета по градостроительству. Планы установить памятник подтвердил в беседе с “Россией всегда” глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям. Предполагаемая стоимость проекта – 52 миллиона рублей, финансировать его будут за счет бюджета города и добровольных пожертвований всех граждан страны».

Меня окружали письма, письма, письма, открытки, телеграммы, журналы. Некоторые из них обгорели, другие были порваны.

Радиоточка работала, не зная о том, что я читаю старые письма.

«В культурной столице казаки продолжают рейды по клубам. Петербург продолжает тщательно предаваться регулярной проверке на нравственность и соблюдение православных традиций». «Екатеринбуржец Александр намерен отправиться в путешествие в Крым на минском тракторе. Старт запланирован в конце мая. “Семья у меня нормально относится к идее – жена вот шторки пообещала сшить, дети помогали красить”, – рассказал нам будущий путешественник». Эту новость готовил я. Я записывал «голос Александра», а на самом деле моего коллеги по «России всегда» – в Екатеринбург никто меня отправлять за синхронном не собирался.

Несколько писем, оказавшихся в моей сумке, были схвачены бечевкой. В отличие от остальных писем – одиночек или пар, это была компания. Они были написаны одной рукой, все были без конвертов и все адресованы «Лиле». Два письма, вернее короткие записки, выпавшие из перевязанной стопки, я уже видел – еще в контейнере, когда входил в него и когда из него выползал. Следующее было длиннее.

1.5

8 июня 1916 года. Лилечка, а я Вам снова пишу и снова надоедаю. Что делать. Вот уже десять дней как мы в поезде. Приходилось ли Вам делать такие переходы? Завтра будем в Харбине.

Красота действительная, захватывающая красота – это Байкал. Изсиня черная вода тянет к себе, не дает оторваться. Но попадите в нее, и она задушит Вас в своих студеных объятиях. Рука коченеет уже через полминуты. И это в июне! Летом.

Как Вы думаете, Лилечка, что мне напомнил Байкал? Его красивая, но холодная, притягивающая и в то же время давящая красота напомнила мне... Петроград и его... обитательниц. Разве не верно? Те же качества и те же свойства.

По приезде на Амур со дня на день буду ждать от Вас письма, Лилечка. Большие, большие пишите. Не забывайте. Впрочем, это будет видно по тону Вашего письма. И что-то хорошее... Ваш Коля.

3.14

Радиоточка сообщила о новых указах. Их было несколько, последний был таким: «С сегодняшнего дня людям, не обладающим специальной справкой, запрещено оказываться рядом друг с другом на улице ближе двух метров. Против нарушителей будут реализовываться санкции, проводиться задержания». На этом дневные новости закончились, начался повтор утренних. Я подумал, что этот указ связан со вчерашним объявлением «Радио NN», говорившем о выходе на улицы 12-го числа, когда «все встре...».

Я вернулся в комнату и снова лег на кровать, меня укрыло облако заячьей шерсти. Заяц улегся у меня в ногах. Закрыв глаза, я увидел буквы, косой почерк, человека в старом мундире, улыбающихся детей, которых я не знал, брошюру о цветении, журналы, о существовании которых не слышал, плачущего доктора и какую-то Любу. Они плыли передо мной, постепенно проваливаясь в огонь, я пытался их оттуда вытащить, но они вспыхивали и исчезали, я падал в горящую воронку из фильма о хоббите, а воронка превращалась в кроличью нору. Тогда я стал вспоминать.

2.4

Я стою по колено в снегу. Я смущен призрачными знаками, почти незаметными следами на чистом снегу у подъезда. Летит ворона. Пахнет снегом и пахнет супом, который готовит Тамара. Вот она с птицей на плече стоит в своем зеленом пальто у открытого окна, держит половник, пробует, щурится на солнце. Со стороны бывшего Покровского бульвара доносится:

Правительство воли, сердце народа,
песни, любовь и заботы!
Над нашей землей войны и труда
Кремлевские звезды, сияйте все краше
Это все наше, это все наше.

Я не вижу их, поющих, но знаю, как набухают жилы у статных трубачей духового оркестра, как складываются в ромбики ртов птичьих птенцов рты тонких девушек. Все они одеты в обтягивающие комбинезоны с принтами со Сталиным – усы генералиссимуса аккуратно лежат на правой и левой грудях хористок. Это активисты «Служу России» проводят мероприятие в рамках субботнего форума за безопасность русских детей – в честь очередной годовщины присоединения новых территорий.

Стоит Россия, утес величавый,
И в каждом пропеллере дышит:
Все выше, и выше, и выше —
Над родиной нашей полет,
Там Сталин любимый живет.
Звонкая песня державы!

Я смотрю на ворону. Прислушиваюсь к своему похмелью. Чу!

Рядом с яблоней, листья которой весной залезают к нам в окно, мягкая суета, деликатное движение.

Слышу: как будто очень маленькой, размером с мизинец, пилой кто-то пилит нашу яблоню. Вижу: совершенно белый, белее снега, белее белого снега, белее белого цвета – заяц.

Сантиметров 70. Хвост короткий, округлый. Лапы широкие. Ступни? Ступни покрыты густой щеткой волос. И даже подушечки пальцев – с этой самой щеткой.

И грызет.

Смотрю на него, и в голове мешаются мысли, толпятся вопросы: а откуда ты взялся, братец? И чего это ты пристроился к нашей яблоне? И главное, а не вздумаешь ли ты сейчас линять? И если да, не нужна ли тебе моя помощь? А если нужна, то как же я смогу помочь тебе? Что я стану делать, когда твой волшебный белый мех начнет спадать клочьями? Ты же вымирающий, из бывших, тебя же почти не осталось.

Ты знала, что заяц-беляк занесен в Красную книгу? Последний раз его удалось встретить десять лет назад в Химкинском лесопарке. Но лесопарка уже нет, а заяц спустя десятилетие добрался до бывшего Подколокольного.

Что мы знаем о нем?

Немного. Этот народ разбросан по всему свету. Скандинавия, Ирландия, Казахстан, остров Хоккайдо. Видели их и в Чили, и в Аргентине. В Монголии. На Урале и в Уэльсе. Кое-кто проживает в Швейцарских Альпах. Бывал ли ты на острове Хоккайдо, заяц, слышал ли песни Оссиана?

Молчит. Грызет. Как будто пилит яблоню очень маленькой, размером с мизинец, пилой.

Но особенно любит заяц-беляк центральные районы России. Хвойные леса, открытые болота, заросли ивняка, березовые колки. Высокая густая трава.

Наука знает: есть беляки дикие, есть оседлые. Наука знает: заяц-беляк занимает индивидуальные участки в 3–30 гектар. Каков твой участок, заяц? Богат ли ты, прижимист? Молчит. Грызет.

Бывает и так: самый оседлый заяц-беляк вдруг нет-нет да и сорвется – отправится в путь. Вот как в этом сентябре – на Таймыре семьдесят три особи отправились на юг. И прошли сотни километров. Не из таймырских ли будешь, заяц? Молчит.

Рассказывают всякое. И про осеннюю копрофагию, и про агрессивный ночной образ жизни, и про трусливую пассивность перед лицом гнуса. Где сплетни, где наветы, где правда – не узнать. Но кто без греха?

Грешен ли ты, мой заяц-беляк? Молчит. Молчит. Молчит.

Жизнь беляка, где бы ни жил он, коротка. Долгожителем зовется тот беляк, что дожил до семнадцати лет. И эту тему мы обсуждать с ним не будем.

А еще известно: меню зайца-беляка разнообразно и красиво. Он любит клевер, мышиный горошек, тысячелистник, золотарник. Он любит чернику. Сухие длинные веточки кустарников, шишки кедрового стланика. Есть и такие, кто предпочитает олений трюфель, который выкапывают из земли.

Но зайцы-беляки не любят яблони. Они не грызут их кору, предпочитая другие деревья, если уж чернику или клевер кто-то занял.

О чем ты думаешь, грызя кору яблоневого дерева в бывшем Подколокольном переулке? Может быть, о своих монгольских братьях? Может быть, о чернике в лесу? А может, об опасности, которая всегда близко, о печали, которая всегда на пути, о страхе, который внутри ветхой шерсти, о полях тысячелистника, растущего совсем в других географиях? Наука говорит: единственное спасение зайца-беляка от преследователей, это чувство слуха. И еще – умение быстро бегать. Идя на лёжку, заяц передвигается длинными прыжками и путает следы, делая вздвойки и сметки. Ты умеешь делать вздвойки, мой заяц-беляк? Ты умеешь резко прыгнуть в сторону от своего следа? Я научусь у тебя, у меня тоже есть чувство слуха, это моя беда, но, может быть, и мое спасение.

«Да не сомневайся! Тащи его сюда», – крикнула из окна Тамара и, видя мое замешательство, появилась через минуту с байковым одеялом, ловко завернула в него зайца и отнесла домой. «Воскресный супчик сам прискакал». Но я отбил зайца, упросил Тамару, и теперь таймырская счастливая зима и уэльское счастливое лето всегда в моей комнате – в витающем снеге и летающем пухе заячьей шерсти вечно линяющего, обновляющегося беляка.

Так стал со мной жить заяц-беляк.

3.15

Я проснулся резко от внутреннего движения. Была ночь, в переулке горели фонари, с улицы доносились крики рабочих, свистки гвардейцев. Заяц спал у меня в ногах, иногда – видимо, и ему снилось что-то страшное – делал резкие движения лапами, оставляя громкие вмятины в письмах, валявшихся на кровати.

«Эти письма живые», – сказала Кувшинникова. А что в них живого, вот они лежат осенними листочками весной. И их пинает истеричный заяц. А еще ее слова, что все сказанное этим изумрудным голосом – правда. Как в это поверишь?

Меня окружают чужие фразы, перевранные мысли, чертовы вопросы, украденные слова, все слова украденные, эти смыслы не имеют смысла, хотят найти новое значение, нестерпимы старые значения, все они несвободны. Как стать свободным – от прошлого и от страха? Хотел бы знать? Да! А хуй тебе. Вот самое готовое к новым значениям, самое свободное слово. Хотел бы избавиться от этих голосов в голове? Хотел бы. Возможно ли это? Нет, хуй тебе.

Слова и картинки танцевали в голове, и мысли строились вокруг них, собирая новую станцию: человек в тулупе, Кувшинникова, изумрудные письма, записки в почтовом ящике.

И главное: какой смысл? Допустим, правда. А что это может изменить, а, заяц? Я не могу ничего сделать ни с голосами в голове, ни с работой, куда там до сражений с можайскими рвами и прочими ужасами, даже если они и существуют. Ничего не может измениться. Я недавно слышал в «Пропилях»: «Рубят Треугольный лес», – шепотом, оглядываясь, говорил один другому. А это ведь уже совсем мое, мой кусок родины, и, если это правда, надо куда-то бежать, надо что-то делать, но куда бежать, что делать, значит, неправда про этот лес, и черт с ним, с лесом, леса же заново умеют расти, это даже полезно.

Было когда-то такое когда-то, когда казалось, что я знал, куда иду, но эти знание и веру уже давно завалило тряпьем, временами года, неудачами, супами, новостями из радиоточки, всем тем, из чего складывается жизнь. И я стал усталым, как все вокруг. Усталым и несчастным, как всё и все вокруг. И вот я лежу. Навсегда раненный Мачек, в ворохе писем, серый и голый, как кора у соседних тополей. И в голове проходит парад мертвых вещей.

Заяц опять лягнул письма и когтем порвал одно из них. Эти письма. Выкинуть или поменять их на что-то? Что с ними делать? Теперь обвинят в краже, но я же спасал. А может быть, накажут. Могу попасть и под закон о присвоении любого госимущества. А это расстрел. А могу за участие без справки «в несанкционированном собрании как в местах общего пользования, так и домохозяйствах». Контейнер – это место общего пользования? А справка, разрешение у них было? Не было – значит, десять лет, было – а как теперь докажешь, небось сгорела. А еще наверняка были нарушены законы об оскорблении исторической памяти и о национальном наследии. Да мало ли. Но нет, нет, эти письма я, во-первых, спас, во-вторых, об этом никто не знает, в-третьих, они никому не нужны.

Вот ты Джельсомино. Сэр Галахад. А вот – склейка – и ты обморок, отраженный в глазах Кристины Спутник, обмылок, боящийся жуков и всего остального, ждущий великанов и орлов. Я по-разному представлял себе будущее, чаще всего – никак, иногда – «умру в тридцать три», в хорошие дни – «я капитан пиратского корабля у мыса Доброй Надежды». Но никогда не думал, что в сорок буду слутым человеком с сухой веткой носа, проблемами со слухом, десятком тысяч прочитанных и забытых стихов, способностью сходить с ума от того, что слышу шум чужих станций, маленьким взрослым, которому «нужен магний и калий». Что, мальчик восьми лет из старого леса, где я? «Я» – что за странное слово такое? Видишь трамвай, на котором можно убежать? Не видишь.

Это я не на жалость бью, но показываю тебе строй моих мыслей в дни перед тем, как все изменилось. Вопросы, голодные вопросы, голые вопросы, украденные вопросы, глухие, как я, вопросы. Страх утраченных возможностей.

В моем детстве была удивительная вещь: отсчет минут от ухода поезда метро. Я ее называл «кольчатость минут». Это сейчас считают время до поезда, который придет, а тогда – от ушедшего. Какой в этом был практический смысл? Оплакивание – твой поезд ушел? Растущая горечь от упущенного шанса? А я хотел бы быть как Брейгель. Дедушка рассказывал, что Брейгель, когда был в Альпах, глотал горы и скалы, а потом, вернувшись домой, извергал их из себя на полотна и доски. Я бы хотел быть пожирателем гор и входить в города верхом на циклопах, а в городах – девушки, ждущие меня и ткущие саван для всего старого мира. Я бы хотел идти по белой тарелке нового мира без всех старых слов – «гиперакузия», «тиннитус», – с новыми связями и отношениями между словами, отменяющими все эти «рекомендуется к принятию», «чувствительность к звукам», «затрудняет восприятие речи». Я бы шел и пел: «Тень-тинь-тянь-тюнь-тень-тинь-тинь, чьюр-чьюр-чьюрюрю-чьюр-чьюр-чину, тью-тью-тью-тьюрр, сип-сип-сипсип-сип-сипсипсип-сипсирр». И наверняка их танец – всех моих мыслей и не знаю чьих голосов – попадет в такт твоего неровного дыхания, тогда еще мне незнакомаго.

Я засунул аппаратик в ухо, съел кусок пирога, запил его двумя глотками супа. Я вышел на лестничную клетку, полную жуков. Из почтового ящика выглядывал голубоватый листочек, я подумал: «Новый почтовый голубь, опять». И снова услышал там-там с пластинки «Питер Пэн».

На оборотной стороне было написано знакомым каллиграфическим почерком: «Скажи – простите, что я на ты, – скажите себе: “Увижу, когда поверю”. Слишком смело? Видеть жизнь приключением, имеющим цель и наполненным чудесами, – значит наполнить ее целью, смыслом и чудесами. Считать жизнь бесполезной – значит делать ее такой. Слишком смело? Возможно. “И все, что ни попросите в молитве с верою, получите”. Только представьте, только представьте. До скорого».

Я покрутил записку несколько раз, на ней не было адреса, ни моего, никакого. Я оглянулся, прислушался: из радиоточек в квартирах доносились новости. Я сунул записку в карман. Надо было идти в «Пропилеи». Я о них тебе еще не рассказывал.

3.16

«В результате короткого замыкания проводки на складе почтового помещения произошло возгорание, приведшее к пожарной ситуации. Найденная накануне бумажная корреспонденция за несколько десятилетий от конца XIX до конца XX века, письма и другого рода бумажная продукция, как то: открытки, брошюры, фотографии и прочее, – быстро воспламенилась. Рассматриваются также версии хулиганства и экстремизма. Освободившееся помещение дарит возможность подготовить глобальную мультимедийную экспозицию с аппликацией, посвященную истории России вообще и почтовых служб в частности, для обеспечения эффективной исторической памяти страны. Сделавшие пространство функционирующим сотрудники отделения награждены орденами, памятными медалями, набалдашниками. Ведется поиск виновников незначительного происшествия возгорания и утраты корреспонденции. Бояться не нужно ничего. Перейдем к успехам инноваторов в аграрной и надзирательной сферах».

Лето

«Лето знойное. С грозowymi тучами. Опаленной землей. С синим небом. С спелым хлебом»

3.17

Первый же выстрел сбил меня с ног. А сколько их было еще?

Я завернул за угол. Пуля сразу попала в меня. Убит?

Я должен был почувствовать, что меня всего окунули в кипяток. Я должен был ощутить невыносимую тянущую боль. Я должен был онеметь, а не только оглохнуть. Но я не чувствую ничего: ни кипятка, ни молота, ни онемения – наверное, пуля сразу попала в сердце, и мое тело уже не может причинить мне страдания. Последнее, что я услышал: звук выстрела – глухое паум-м-м-м – и слова: «Бей его, стреляй, Ерёма! Он сам Сатана, Сатана-а-а!» Последнее, что увидел, – ослепляющий белый свет. Я упал, я закрыл глаза.

Значит, всё. Вот я умер. Ну и пусть. А как еще могло случиться, что еще со мной могло быть? Ранение, наверное, слепое. Я глухой, ранение слепое. «Сам Сатана, Сатана-а-а!»

Тогда я стал вспоминать.

Сатана-а-а-а. Да-а-а, это я, да, мое имя Орландина. Поцеловать рукав от платья. Ну же! Приди в мои объятия.

Мы выпивали большой компанией и пели песни. Незадолго до того, как закончился прежний мир. Я помнил тот вечер: было ощущение, что существование каждой мелочи – именно на этом месте лежащей чайной ложки, именно здесь стоящего книжного шкафа – может обрваться. Любая встреча тогда казалась последней и, как выяснилось совсем скоро, такой и была. В те времена все говорили: «Живи здесь и сейчас». Но никто не предупреждал: это значит, что все происходит в последний раз.

Прямо вижу: еще все сидим и поем под гитару «Орландину», «Самый быстрый самолет» и «Ах, как бы хотелось, хотелось бы мне», я выхожу со светлой террасы в темноту и шлепаю по траве к деревьям, чтобы пописать. Еще слышно, как Лева поет, но идет дождь, и дождь скрадывает голоса. Я возвращаюсь и вижу: кто-то уехал, кто-то умер, кто-то стал другим. Не совсем так, конечно, но почти: вышел на минуту поссать, а вернулся в журнал «Корея».

И вот теперь я свернул за угол, и в меня попала пуля. Почему так нелепо? Я думал, что на поиск смысла жизни у меня есть годы. А получается, в запасе доли секунды.

Сейчас я умру. А со мной вместе умрут все те, кого я знал, все слова, все звуки и знаки. Кому достанется мой аппарат для уха, что станет с зайцем, куда денут письма? Перечисляя это, я с удивлением вижу, что жалеть мне особенно не о чем. Я вел полумертвую жизнь, в которой все дни слились в один замерзший суп. Единственное, о чем жалею: я не был влюблен. Все опыты и попытки не идут в счет, всё не то. Вот, что помешало мне стать кем следовало: для этого надо быть влюбленным. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Нет правильного ответа, только такой: я стану влюбленным. Любовь меняет обычные правила времени, вскрывает их смехотворность. Создает остров Небывалый. И в новых прежде небывалых временных промежутках дает сделать что-то живое.

Когда я страдал от того, что умер кто-то мне дорогой, я страдал от того, что начиналось скучание. По тому, чего теперь не будет, что станет неслучившимся: по шутке, объятию, приветствию, взгляду того человека на дерево или на собаку. Сейчас, когда умираю я, мне жаль, что не по чему во мне скучать. А надо, чтобы и моя жизнь чем-то сделалась. Воплотилась во

что-то. Надо было сделаться влюбленным и действовать соответственно. Например, смотреть на дерево.

Я как будто вышел из самого себя: стал глазеть на себя со стороны. Точнее, сверху, как на страницу с персидской миниатюрой. Вот эта картинка: темный вечер, качаются деревья, на них сидят птицы разноцветных оперений, посреди изумрудной улицы среди цветов лежит мальчик, раненный пулей в сердце, дальше – сад, живущий в ожидании вселенской победы. К мальчику подлетает мотылек и почему-то басом спрашивает его: «Что заставило вас измениться? Чей-то совет? Собака? Случайная музыка? Или внутренняя перемена, непостижимая, как небо над головой и ветер в овраге?» А мальчик молчит, и над ним ходят лилии. И говорят: «Смотри на нас, мы полевые лилии, смотри, как мы растем – не трудимся, не прядем, ведь завтрашний день сам будет заботиться о себе».

Кстати, о лилиях, если я умираю, то почему я не чувствую предсмертного запаха трав и цветов? У человека, я знаю, есть обонятельный рецептор, он пробуждается перед гибелью. У каждого он свой. И я должен его чувствовать: шалфей, иван-чай – не знаю, что там еще.

– Да что там еще?!

– Да пластиком его задело самое большое, а он уже со святыми отцами разговоры разговаривает. Или вообще от грохота накрыло. Софитом ослепило. Эй, обморок, встаем! Христос воскрес!

Кто-то поднял меня и грубо встряхнул.

– Ты что же это, уебок, в кадр влез? Кто напролом-то идет? Глухой, что ли, совсем? Не слышал? Шептали-шептали ему – стой, стой, а он лезет, эх ты. Кадр запорол, мы тут про веру православную на фронте снимаем, а он уши развесил, вали давай, пока не сдали гвардейцам. Ерёма, по новой заряжай!

3.18

Шуршанье платья, легкие шаги, приветственные возгласы. Это – движение сбора гостей. Это – шуршанье платьев, легкие шаги, тихие переговоры со стражниками и изящнейшими помощницами, звон бокалов. Стук приборов о тарелку, удар вилки о зуб, харканье, рыгание, резко отодвигаемый стул, пинок, окрик «Пидарок, ты ослеп или оглох?». Открываю глаза: стою вплотную к краснощекому крупному гоблину, на плечах его пиджака – трупки жуков и перхоть. Черный бим, белое ухо. Я прошу у него прощения.

Заходя в «Пропилеи», я всегда стараюсь как можно дольше не видеть. Сощуриваю глаза до китайских осиных щелочек. Я идеально двигаюсь в полутьме, смотря на мир через горизонтальные замочные скважины. Я так делаю с детства, чтобы лучше поймать, что на самом деле происходит вокруг. Героев больше нет, только в сказках, но так я становлюсь их героем. Я – ниндзя. В «Пропилеях» эта привычка помогает лучше настроиться на работу: я слышу, какая сегодня природа зала, я слышу движение сбора гостей. Его звук иначе не почувствовать: если увидеть тех, кто его создает, сразу провалишься в мысли каждого из них. Тогда не сможешь собрать общий тон, подчинить разлетающиеся звуки. Но если не поддашься, то, настроив технику в тон пространству, заставишь слышать музыку так, как считаешь нужным: всех, даже краснощекого гоблина. Тогда можно на минуты превратить их в кого-то другого – может быть, в тех, кем они когда-то хотели быть. Ненадолго все изменишь. Например, можно поселить здесь прозрачные улыбающиеся лица, изящнейших стражников, кринолины, мундиры, пенсне, трости. Или даже собрать из того, что есть, рождественский маскарад. Но удар вилки о тарелку, резкий звук чужой станции – и все исчезнет.

Прячу обратно в карман паспорт и медкарту. Я иду быстро и немного боком, стараясь быть незаметным, слиться с воздухом, но все смотрят на меня и на мой нос, приходится молча извиняться. Иду в большой зал. Колонки на месте. Страхиваю со столика жуков. Движение сбора гостей. Еще минут двадцать, и шелест платьев станет громче, сольется с переключкой бокалов, с учтивой беседой. С харканием.

– Ты знаешь, я как-то утомился и, по ходу, расстроил себе.

– Что расстроил?

– Ну, нервы, что ли.

– Нервы?

– Нервы.

– Лечишься?

– Да чо-то как-то как придется.

– А ты махни в деревню, на фазенду свою. Ты же, ебта, магистр, можешь нервы подлечить без претензий.

– Я не в ресурсе.

– Ты в потоке?

Устанавливаю дибоксы, микрофоны, вертушку. Рядом с колонной ставлю микшерный пульт с рэком обработки. Расстроенные нервы – это общий диагноз, все постоянно о них говорят, это припев здешних разговоров. На всякий случай проверяю в сотый раз, что на что заведено. Скомпрессировал и загейтил малый барабан, томы, бас-гитару и вокалы, с особой любовью – бочку. Тум-тыщ, тум-тыщ. Рас-с-с, два, три, четыре, рас-с-с, соси... соси... сосисочная, сосны, сосны. Тум-тыщ, тум-тыщ. Я очень уважаю бочку. Я составил отдельный список песен с бочкой.

Мимо проходит официантка Аглая, она борется с жестяным подносом, нагруженным посудой. Предлагаю помочь. Плохая была идея: тут же роняю пару тарелок, чайник – все вдре-

безги. Надо подчинить эти вдребезги себе, этот звон – тоже движение сбора гостей. Шуршание платьев, тихие переговоры, осколки девичьих сердец хрустят у меня под ногами.

Проверил мониторную линию. Задушил все, что ниже 60 герц, чтобы внизу не было бубнежа. Еще повозился, попросил Иону налить сто в счет зарплаты. Можно на время успокоиться, дожидаться начала концерта и тогда уже переживать, слушать звучание инструментов и звук зала.

1.6

Дорогой Миша!

В июле я от тебя получил две открытки и одно закрытое письмо, а тебе в августе отправил 2 закрытых письма, но ответа на них не получил еще. Что нового в Маковцах? Как здоровье родителей?

Я покамест жив и здоров, работаю здесь на известковом заводе; физически чувствую себя сравнительно хорошо, если не считать того, что шатаются зубы и несколько кровоточат десны – это как я уже тебе писал в своих предыдущих письмах я успел получить еще в Москве, ну а здесь подлечивают амбулаторно. Как возможно.

Буду просить тебя выслать мне чесноку, если сможешь то несколько сахара и каких либо сухарей (только не кондитерских!). Большие ничего не надо никаких излишеств, мне и так неудобно. Что я тебя этим затрудняю.

Ну о себе прибавить чтонибудь нового не смогу, потому что все протекает по-старому. Перечитываю в часы досуга Достоевского и очень доволен этим! Меня гораздо больше интересует, как ты там живешь? Елизавета Серг. и все вообще обитатели кв. № 18?

Лично для меня из вещей носильного порядка ничего не потребуется, т. к. я имею все необходимое, а лишние вещи связывают только, это одно, а второе то что ходить здесь особо не приходится, не то что в городе, поэтому обыденным костюмом вполне можно обойтись и в выходной день.

Совсем было забыл просить тебя кстати выслать курительной бумаги не важно какой, т. к. здесь с раскуркой у нас бывают иногда затруднения. Курю здесь исключительно махорку и в нее втянулся довольно основательно. Ну как будто всё. Будь здоров. Желаю тебе всего наилучшего. Крепко жму руку. Твой брат Евст.

Р. S. Напиши обязательно, чем и как в деревне сейчас живут наши? Как там с хлебом? Сеют ли они что на своем клочке? Каков был в это лето покос, как у них там с сеном? И что вообще есть из скота? Ты писал, что мама хотела было растить телку, но что с ней была неудача. Что же теперь? Напиши обо всем подробнее. Будь здоров. Пиши непременно. Крепко целую тебя. Твой брат Евст. Привет всем! Соловки. 1 сент. 1934 года.

3.19

Сложив письмо, на всякий случай еще раз провел баланс инструментов. Это за мной водится – оглядываться, проверять уже проверенное. Бабушка говорила: «Жизнь с включенным утюгом».

Клуб был полон. Бархатистый толстяк пришел слушать музыку, крикливый надушенный – нажраться, шепелявая томная не помнила, зачем пришла. Я снова закрыл глаза. Шуршание женского платья. Тонкий голос: «Отец подарил мне рыжего мерина». Толстый голос в ответ: «Над тобой все будут ржать». Голос как у диснеевского Дональда: «Из XXI века ничего не получилось, без просвещения XX век не имеет смысла – никто ничего не знает и не понял, опыт ничему не научил». Голос, застегнутый на все пуговицы и с розгами в руках: «А ну-ка давайте засунем язык ворчания в жопу молчания, а не то сами знаете». Задыхающийся глубокий: «Понимаешь, это нравственные мускулы нации, так сказать, народ-голубка». И все подряд:

– Конечно, в реальности всё совсем не так, мы живем на обреченной территории, это же полнейшая нищета, это тотальная изоляция.

– Ты чего так осмелел, тут же жучки всюду понатыканы.

– Мухожучки?

– Очень смешно.

– Да не ссы. У меня глушилка переносная. Короче, это полное, запредельное дно.

– И что? Это теперь навсегда? А как же Черный Плащ, только свистни – он появится, куда все супергерои делись...

– Забудь. Сами же и загасили их под корень. Все они теперь в сказках, в пожизненных ШИЗО и в фильмах «Марвел», которых нам не покажут.

– Слушай, – глухой шепот, – а эти самодельные желтые афишки и зеленые буквы на улицах, это чего вообще?

– Я тебе говорю, забудь, пошли нюхать.

– А ты слышала, что он ушел от нее к продюсеру военных праздников?

– Ебанись!

– Ну! Трое детей, ипотека, все дела.

– Круто!

– Ну!

– Что скажет эта, как ее, Марья Андревна!

– Ну а о чем! Все гудят, а ему похуй.

– Да я искал! Сейчас на Патриках уже ничего дешевле чем за двести пятьдесят не найдешь. Даже самую дрянь – только за пару соток. Там скоро уже кровати за соточку сдавать будут, мне, кстати, в объявлении такое попало: «двух яростная кровать» – понял, да? Двухъяростная!

– Вот мой одноклассник, занимающийся вопросом эволюции, утверждает, что полиция – это локальная адаптация.

– А я предпочитаю даже в таком разрезе не утруждать себя этой так называемой действительностью, я, знаешь, в лучших традициях – гуляю и думаю о судьбах светил.

– Я тут одну приبلуду прикупил, ну вещь, я тебе скажу, ну вещь!

– Я замерз, мне очень холодно.

– Я тоже.

Эти разговоры я слышу каждый вечер, как будто небесный звукорежиссер сварил из них заиндевевшее колбасное кольцо. Все они – замерзшие люди. Может быть, их обволокли те звуки, о которых говорил гигант на развалинах усадьбы? Я тоже замерз, хотя в зале душно.

Все прошло как обычно. Никто не превратился в рождественского рыцаря или в кого-то еще, кем хотел стать когда-то. Левая колонка дала дубу к концу концерта. Еще сильнее обросшие бородами мужчины и постаревшие за вечер женщины медленно распылялись по залам.

Я сворачивал все назад. Собрал в коробку усилки, дибоксы и прочее хозяйство. Движение гостей пошло в обратную сторону – потихоньку собиралось в коробку с усилками. И я залез в нее же и понес себя домой.

Из почтового ящика опять торчала записка с новой музыкальной коробочкой. Тот же почерк:

«А впереди идет эта женщина, которую знает каждый из нас,
И сияет белизной, чтобы мы уразумели.
И если ты будешь долго прислушиваться,
Рано или поздно тебе откроется заклинание.

Кстати, не забудьте: все живы, пока мы их помним, вы их сможете воскрешать. Советую послушать украинскую багатель, вторую. Думаю, это марш нашего безнадёжного дела, обнимаю вас». В музыкальной коробочке была новая пластинка: «Bagatellen II».

В темной комнате меня не ждал никто, только спящий линяющий заяц и пахнущие гарью письма. Я заснул среди них, силой заставив себя ничего не слышать и ни о чем не думать. Тогда я стал вспоминать.

2.5

Я лежу на кухне в спальном мешке.

Он пахнет мокрой соломой.

Месяц назад умер дедушка, я живу в его квартире, в нашей бывшей большой квартире, с каждой смертью сжимающейся и сокращающейся до пачки «Явы». Окно во всю стену. Балкон со сломанными навсегда стульями. Моя комната. Дальше – кухня. Сортир, в котором я пою и утром, и вечером. Прихожая с куртками и плащами, которые еще не успели раздать. Входная дверь. За нею – засранный подъезд, запах блевотины, иногда – моей. Дальше – двор в тополях. Троллейбусы летят в разные стороны. Это был сентябрь. Дальше – октябрь. Дальше – декабрь. Ноябрь не бывает.

Первые дни я не мог спать, я слышал, как он умирает здесь, хотя его давно похоронили. Я лежал на пыльной раскладной тахте, продавленной посередине. Когда становилось светлее, первые недели я слушал, как граблями оранжевые дворники собирают оранжевые листья, следующие недели – как они убирают снег. Еще прежде чем начинался день, я знал, что он близко, в открытое окно шел сбивающий с толку ветер, кричали вороны, тянуло гарью, неважно – в понедельник, среду или в субботу, каждый день. После красно-желтых дней.

Я курил его «Яву» в мягких пачках, две-три пачки в день, у дедушки осталось несколько блоков – мое наследство. Я спал до трех часов дня, слушал «Радио Свобода», на котором оставился его приемник. Вечером бегал в магазин под домом, туда, куда ходил он и где страшные бабы с халами и лицами, закрашенными румянами, знали его и спрашивали, почему его давно нет. Я отвечал, что он стал летчиком и разбился над Африкой, сражаясь с фашистами, или что летает с космонавтом Поповым, или что бурит Северный полюс с Отто Шмидтом, они отвратительно хихикали и просили передать ему привет, старые тупые шлюхи, я ненавидел их и покупал у них яйца, упаковки «Доширака», майонез, пиво «Клинское» и водку.

Когда было уже темно, часов в одиннадцать, я звонил Лева.

Он приезжал всегда.

Лева был богом.

В то время мы много пили. В одну ночь мы попробовали «Русский лес», флакон которого стоял под ванной. Это страшная дрянь. Но чаще мы выпивали по десять бутылок пива и переходили к водке.

Лева был самым красивым человеком, которого я видел в жизни, он был высок, у него были голубые глаза, зеркальный с моим шрамом шрам у левой брови, он играл на виолончели и приезжал всегда, когда я просил его, – и когда не просил, тоже приезжал. Он был влюблен в девушку, которую мы с ним вместе встретили в поезде, она жила в Евпатории и была замужем за начальником охраны банка «Крымский».

Я лежу в спальнике, он соленый на вкус, с правого края у него черная дыра – след от искры костра на раскопе. Я жил в нем весь август у моря. Лева спит на пыльной тахте в большой комнате. Мы успели расколоть унитаз, уронив на него арбуз, разбили люстру головой, танцуя под «Satisfaction», мы, не думая об этом, потихоньку уничтожали этот дом, и Лева сыграл на виолончели все песни Цоя, которые знал, три раза сыграл «Дыхание», дважды – «Покатаемся по городу» и один – «Karma Police».

Я лежал в спальнике и думал о всяких странных вещах. Сперва я представлял себе, как мы с Левой в костюмах Микки-Маусов влетаем в банк «Крымский» в Евпатории, кладем на землю начальника охраны, Лева кричит: «Это ограбление!» – я прошу всех хранить спокойствие, бегу к хранилищу, перекидываю Лева мешки с деньгами. Прежде чем уйти, мы разбрасываем содержимое одного из мешков по всему помещению, и благодарные посетители банка бегут подбирать монеты, в суматохе мы сбегает, за рулем троллейбуса сидит та самая Галя, мы

уезжаем в Судак, а там на маленьком ялике перебираемся в Турцию, плывем дальше и открываем в Яффе филателистическое общество, становимся страшно богаты, я делаюсь эфиопским шаманом и нахожу способ оживлять людей с помощью «Явы».

Еще я думаю, что, если бы я был, если бы я был, если бы я был, если бы я был смелым, я бы стал афроамериканцем. Я бы пришел в клинику и сказал: «Я хочу быть черным. Я хочу быть как Эдвин Старр. Сделайте мне такой нос и такие скулы». И прежде чем началась операция, я понял, что не хирург, а Лева трясет меня за плечо, моря нет – только соленый от моря спальник.

Лева, когда я спал, смотрел телевизор, последние ночи он смотрел его все время, и, хотя наш телевизор был черно-белым и из-за оторванной антенны изображение в нем ходило волнами, Лева увидел, что случилось. Это была ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое, террористы только что выпустили пятнадцать детей и еще несколько человек. Всю эту и следующую ночь мы смотрели на то, как дрожит черно-белое изображение, и слушали голос диктора.

В ночь на двадцать шестое я снова видел море, и Лева снова растолкал меня, в пять утра был штурм. В шесть мы услышали, как дворники за окном начали собирать граблями листья.

В восемь Лева выбросил телевизор с балкона, на котором стояли сломанные стулья, лежали старые журналы, покрытые заплесневевшим ковром.

3.20

Сейчас Иона нальет, и я пойду к себе. У Ионы работает радиоточка «Россия всегда»: у бара почти никто не сидит, а ему за смену осточертела музыка, идущая по кругу – разрешенный набор всегда один. И теперь он слушает новости.

Энергичный голос быстро говорит: «Центр Москвы атакуют экзотические моллюски. Улицу Параллельную буквально заплотнили гигантские желтые слизи, они размножаются с бешеной скоростью. “Он огромный!” – говорит потомственная москвичка».

– Это Среда синхрон записал, – тихо говорю я.

– Чего?

– Мой бывший коллега по «России», Среда. В своих записях он всегда ставит легкое шипение.

Бармен Иона – жердь. Высоченный, узкий и устрашающе крепкий. Его тело подражает его имени. Он напоминает героя из фильма, откуда – помнишь? – фразы «дятлы дороги» и «она – сам секс». У Ионы такие же вмятины во лбу и такая же лютая улыбочка. Иона из Уфы и постоянно грозит «вернуться в Россию из этой вашей ебаной Москвы». Он киноман. Он любит старый американский нуар, экспрессионистское немое кино и еще отдельно «Славных парней», которых знает наизусть.

Да, Иона – жердь. Когда он выпрямлялся у бара, то мог закрыть первые десять полок, выше него только джины, которые никто никогда не берет. Он мой главный собеседник, коллега и собутыльник уже сто лет, с тех пор как я работаю в «Прописях». Я здесь звукорежиссер и почасовик на подхвате – разгрузить машину с продуктами, постоять за баром, чего-нибудь состряпать. Мы с Ионой странная пара: укороченный урод с длинным носом и колода с выпученными глазами. Так и сидим вечерами по разные стороны барной стойки.

«Бояться ничего не нужно, правительство принимает меры, – продолжала радиоточка. – Как и в соседнем случае. Причиной паники среди жильцов дома на Первомайской стало нашествие ярко-оранжевых пришельцев. Зоологи определили: это слизень арион лузитаникус, сельскохозяйственный вредитель из Испании. В рамках проводимого благоустройства, предполагающего завоз рулонного газона, был осуществлен также и завоз арион лузитаникус. Дело в эффективности высотного строительства многоэтажек на месте сносимых зданий: рыхлится почва, создается благоприятный режим для разных существ».

– Для разных существ. Бояться ничего не нужно, – прошептал я. Иона сделал сигнал радиоточки погромче. На меня опять начал накатывать страх, мне хотелось прекратить это. И я поймал себя: я хочу, чтобы сейчас сюда, на наши волны, прорвалось «Радио NN», Радио изумрудных людей. Хотя и слышал, что они врываются только в эфиры развлекательных станций, а не в идеально защищенную радиоточку «России всегда».

«Эти слизи разносят на себе определенных паразитов. Самый известный – это цепень. Москвич погиб от того, что в полусне засунул слизня десяти метров себе в рот».

– Слушай, выключи, пожалуйста.

«Но бояться не нужно: ничего экстраординарного не идет, приняты необходимые меры. Чрезвычайно хороша была для появления новых существ весна. Населению рекомендуется воздержаться от поедания арион лузитаникус».

– Нет, ну. Ты. Слышал? – У Ионы глухой голос. Такой глухой, такой хриплый, так медленно рождающийся, что всякий раз, когда он говорит, кажется, что из самой глубины его горла выползает дракон-интроверт. И говорит он отрывисто, делая невольные паузы между короткими предложениями, изъясняясь интритрами, как истинный поклонник немого кино. – А ты бы такую штуку стал. Жрать? Это же кем надо. Быть! Я понимаю, с едой. Жопа. Но все равно.

Стремыч. Это что вообще тут. У нас начинается. Страшно, да? Э, ты чего плюешься. Тебе плохо. Что ли?

Мне действительно было не очень хорошо от новостей, стало подташнивать, я скукожился, закричал. Мне захотелось спрятаться в карман. Я полез за носовым платком – я не использую бумажные, только тряпичные: чтобы чаще получать привет из детства. Платок потянул из кармана монетки, скорлупу от фисташек, располовиненные сигареты, ключи, камешки, каштаны, все это полетело на пол. Наконец платок выскочил, его отдача чуть не спихнула меня с барного стула. А с платком вместе вылетели смятые в снежок открытки и страницы писем, которые я взял на почте и не выложил с остальными. Я подобрал с пола свое карманное наследство и стал расправлять, утюжа ладонью старые листочки.

На открытке – женщина в купальном костюме призывно смотрит в объектив.

1.7

Жду новых встреч в Алуште. Алла. Лето, ах лето! 20 августа.

3.21

- Что это? Ретропорно? – Иона стал вертеть открытку.
- Чье-то письмо, видишь. У меня их целый чемодан. От разных людей и из разных лет. Вот эта – открытка восьмидесятых, похоже.
- Зачем?
- Не знаю зачем.
- А чего пишут? Вот эта. Чего?

1.8

27 января 1917 года. Милая Лилечка. Окончательно выяснилось, что эти отпуски мне придется просидеть в классах. Исправиться в воскресенье по тактике и хотя немного подготовиться к письменной навигации. Проклинаю от всей души тех, кто изобрел эти науки. Я с удовольствием отдал бы их всех оптом за один малюсенький поцелуй в шейку, под углом в 90!

Помню Ваше обещание и жду карточку.

Ваш Коля.

3.22

- Точно порно. Чего за карточка? Медицинская?
- Почему?
- Карточка. Типа тиндер.
- При чем тут тиндер? Это он про фотографию пишет, снимок.
- А еще есть? Вот это другой. Почерк. Читай, ну.

1.9

*Куда: Хреновое, Воронежской губернии.
Пантелеймону Евстафьевичу Малашенко.
Туровка, 21 октября 1911 года.*

Дорогой брат!

Прости, голубчик, что долго не отвечал на твое письмо. Я здоров; живу по-старому, перемен почти нет; страшно надоело жить в селе. Здесь ведь можно дикарем сделаться; при первой-же возможности переберусь в город.

Относительно мобилизации напишу следующее: в этом году предписано свыше сделать пробную мобилизацию в нескольких уездах, в числе которых попал и Бобровский уезд. В Полтавской губ. все спокойно. В случае войны и следовательно мобилизации армии и флота, я, как состоящий на государственной службе, освобождаюсь по настоящим законам от призыва на действительную службу; могут меня послать на театр военных действий в полевую почту – чиновником; но это не то, что солдатом. Запасные в любом случае стоят на первой очереди. Ратников-же ополчения призывают в крайнем случае, т. е. когда не хватает солдат. Но до этого дело, думаю, не дойдет, потому что в России серых шинелей несколько миллионов. Так, что ты на этот счет будь покоен, тебя не потревожат.

В Китае, как и ты из газет знаешь, ужасная революция. Я твердо уверен, что на Дальнем Востоке, рано или поздно не обойдется без драки, пожалуй получше чем была с Японией. Китайцы страшно озлоблены против белой расы, а в особенности против русских.

Про себя много не буду писать; мало интересного. Недавно гулял на свадьбе у товарища; два дня покутил. Здесь публика кое какая есть; частенько поигрываем в карты, преимущественно в преферанс. Газеты просматриваю каждый день. Можно было-бы выгодно жениться и бабенку ничего взять, но я пока не думаю; наверное отчасти по той-же причине, что и ты – холостякуешь.

Из дому мало утешительного пишут. В каждом письме жалуются на нездоровье и недостатки. Что-же поделаешь; многим я не могу помочь, потому, что сам перебиваюсь из кулья в рогожку. Высылаю через месяц пятерку другую, а больше не смогу.

Пиши когда предполагаешь приехать домой и как живешь.

Будь здоров Крепко целую.

Твой брат.

3.23

– Не брат он мне. Гнида. Черножопая. Про бабенку. Хорошо! И про китайцев – топчик. Они, видишь, тихой сапой – затаились. И всю Сибирь. Отгрызли. А вообще какая-то фигня, Нос. Это он что, с армии соскочить. Хочет? Сказал небось, что у него энурез. Или другая отмаза. Вот из-за таких голубчиков мы и просираем. Страну. Пока наши деды во Вторую мировую...

– Да это про Первую мировую. И он до всякой войны пишет. Непонятно, что ли? И откуда ты знаешь, может, он сражался? Или он инвалид, наоборот, был.

– Сражался! Конечно. Хочет в театр, в полевую почту. Устроиться. Театрал, блядь. Инвалид. Сука. Какого года письмо?

– Девятьсот одиннадцатого. Больше ста лет.

– Вот теперь бы письмо его. Прочитали. – Иона неожиданно замер. Крутанул головой и продолжил. – Прочитали. До того как оно до братца его дошло. В это его. Село хреновое. И всё – тью тебе. А не театр и не бабенка. Холостякует. Холостякуй нашелся.

– Чего ты на него взъелся. Кто на войну-то хочет. И потом, говорю тебе, откуда ты взял, он, может, воевал, может, героем оказался. Мы же не знаем. И вообще они умерли уже давно – и он, и брат его. Пантелеймон.

– Ага. Герой России. Ты фамилию видел? Хохол он.

– Ну я, может, тоже хохол.

Помолчали. Помолчали снова.

Он опять замер.

Я немного побаивался Иону. Но не из-за грозного вида и какой-то дежурной озлобленности, а из-за одной особенности. В «Славных парнях», которых он, по его словам, пересматривал столько же, сколько я даром выпил стопок в «Прописях», есть – помнишь? – такой прием: действие на несколько секунд останавливается, кадр замирает, становясь статичным, получается такая фотография, а поверх нее идет голос рассказчика. Иона периодически делал так же. То есть зависал в самые неожиданные моменты, и все замирало. Выглядело это дико. Вот и сейчас он так сделал, но это быстро прошло.

– И чего. У тебя их много, да?

– Много.

– И что прям. Старые? Где? Взял?

Я рассказал ему о том, что случилось на почтовом складе. И как меня за это выгнали с работы.

– Прям настоящая. Оргия. Это я понимаю! И правильно, что тебя турнули с «России». Легко отделался по нынешним временам. Но тебя, конечно, на карандаш взяли. За то, что письма взял. Избавляться от них надо. А не в карманах с соплями держать.

– А я-то в чем виноват, я же ничего не поджигал!

– Ты ей звук принес, который она хотела? Вот. А главное, ты участник этой вечеринки. И свидетель пожара. А она с начальником почты. Я так понял, того. Так что, считай, отделался увольнением. Еще хорошо. Но. Увольнять голосовым сообщением. Особенно тебя. Отдельный кайф, конечно.

– Мне вообще не везет.

– А что ты предатель России, сказала? Уа-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. У-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, конечно. Но она пизда лютая. Чего уж. Там.

– Вагина дентата.

– Чего? Ну ты попал, конечно.

– Я, наверное, совсем уже конченный человек.

– Чего?

– Чего. Кто нас от всех этих ужасов защищает? От цепней, от жуков. Кто дает работу? Если бы не Кристина Вазгеновна, я бы давно уже в можайских рвах гнил за тунеядство. Человеку надо держаться за государство, как за веточку. Иначе сдохнем все.

– Эй-эй, ты чего, ты погнал.

– Только они и защищают. А теперь, выходит, я проступок совершил. К тому же я радио запрещенное слышал, а это уже совсем за гранью.

– Да ты совсем уже. На, выпей.

Я раскачивался на стуле, я и правда себя загнал, я наполнился духотой и очутился внутри страха, как внутри пачки «Явы».

– Так часто сюда ходишь. Что стал стулом. Дрожащим, с древоточцем внутри.

– Да знаю я, а что делать?

– Да всё пучком. Молчи и не ссы. Ты ведь, когда в комнатуходишь. Как будто такой: «Извините, что я существую». Сразу. Так держать. Я таких ссыкунов в жизни не видал. А я только ссыкунов и вижу. Каждый день. Вижу у этой барной стойки. Все такие. Теперь. Ссыкуны. Мои мысли, мои ссыкуны. А ты – король ссыкунов. Ссыкуны. Ссыкуны. Ветераны бегства с бульвара Сансет. Ссыкуны. Мои скакуны.

Он опять завис и повторял как заевшая пластинка или как Кристина Вазгеновна: «Ссыкуны». Я перебил его:

– Это слово отвратительно.

– Ты стал стулом.

– А что я могу-то.

– Ты стал стулом. Глухой нервный карлик. Который в себя не верит. Какая скука. Еще про великанов опять расскажи.

Тогда я стал вспоминать.

3.24

Так много известно о великанах, так много известно о циклопах, так много известно о местах, нам невидимых, спящих до времени, тех местах, где гуляет песчаный ураган и где цветут всех возможных расцветок камыши, еловые шалаши, где спят праздничные великаны, дышат девственные вулканы. И там же – самые маленькие создания, неумолимо маленького размера, живущие между взмахами великаных ресниц и среди еловых иголок. И все они ниже нор, ближе пор. Они подступают к человеку, проникают в него и меняют. Мешают ему окаменеть. О них много известно, но никто их толком не видел.

О них мне говорила мама, прежде чем обернуться зимней ящеркой на больничной стене. Она дала мне обещание. Уже с трубками лежа на простыне, оставляя меня в пустыне, она успела снова рассказать и о праздничных великанах, которые придут на помощь, когда будет нужно, и о майской королеве. Но я не знаю, что из этого было до, а что стало после смерти родителей: стало рассказом бабушки, чтением дедушки, сказками на пластинках, полками с книгами, сперва с картинками, затем со стихами.

Когда мне это обещала мама, был ли я действительно с ней и папой в больнице? Вряд ли. Но какое это имеет значение теперь, когда я знал, что будет: что будет всё – журавлиный клин, толчея снегопада, все яблоки, все золотые шары.

Стихи заставлял учить папа, я еще и читать не умел – по одному в день. Он доставал их из книги с зеленой суперобложкой изумрудного цвета – она была как гномьи ворота, кованные то ли медным плющом, то ли змейкой. А мама, когда я путал слова, говорила: «Будет-будет все», давала обещания и смеялась. Строчки стихов и слова обещаний смешивались.

Помню: будет майская полночь. Будет осока и плес. Ненароком задетая ветка остудит лоб жасмином, жасмином. Будет дом под сосновым холмом на Оке или Жиздре. На Оке? Точно Ока? Или это моя рука затекла? А еще что-то о черных слезах, которые смогу осушить. О сознании, которое перестанет чувствовать руки и ноги, о том, что наполнишься духотою. Наверное, что-то из этого и случилось с ними, когда мама и папа исчезли, а я наполнился духотою. Перестал ручаться своей головою. Но до того мама – я помню, я точно помню – выходила на кухню, ставила на проигрыватель пластинку и опускала иглу: «Любую вещь можно всегда обратить в золото, если будешь долго прислушиваться». И поцарапанная пластинка играла «Your head is humming and it won't go, in case you don't know / The piper's calling you to join him / Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know / Your stairway lies on the whispering wind?» Эти слова я знаю – про гул в твоей голове, с которым ничего не сможешь сделать, если не поймешь, что за ним.

Ее обещание уже начало сбываться – та его часть, где о том, что ничего не сможешь сделать. И теперь это предсказание снова передо мной, оно написано каллиграфическим почерком, его отправил в мой почтовый ящик неизвестно кто.

Мама ставила пластинку, на которой было написано: «Лед Зеппелин. Лестница на небеса». Когда мы вернулись уже без них домой и увидели эту обложку, бабушка сказала, что «вот она по ней поднялась и вот она теперь там».

Да, папа просил учить все наизусть из изумрудной книжки, а мама перед сном говорила: «Вот тебе мое обещание на рассвете». И шептала: «Уходи впопыхах в края тишины. Пропоем заклинание, и для тех, кому хватило терпенья, начнется новый день. Ты только не спеши. Спи. А я посижу здесь».

Тогдашние картинки и слова смешались с музыкой с пластинок, которые я слушал после, и с буквами из книжек, которые я стал учить наизусть после, чтобы выполнить задание отца. Так что я не знаю, какие слова мои, а какие нет. Теперь все слова чужие и все мои.

Внезапность, бессмысленность и, наконец, литературность их смерти сделали и все остальное бес-следным и бессмысленным. И меня самого тоже. Бесследным, бессмысленным и неспособным. Я придумал давно: я никто. И каждый день это подтверждают из всех углов. Рассказывает радиоточка «Россия всегда» своим ледяным звуком, морозящим и Клязьму, и Оку. Никто. Я чувствовал время как лед и скользил по нему в полудреме, как и все вокруг. Оно было гладким и спокойным. Лед затянул собой все, что было, медленно умерщвляя все течения, затягивая все волнения, все желания и всех людей, живших прежде.

Иона сказал, что я стул, я ссыкун. Человек в бушлате кричал: вас обволакивают. Голос из запретного радио требовал перестать бояться. И еще мне что-то шептали письма с совсем другими, нездешними голосами. Все это стало тянуть друг дружку к друг дружке и менять и меня, и мое время. Я стал слышать гулкие, отдаленные шумы подо льдом, я вспомнил о праздничных великанах из сказок, рассказанных мамой, о циклопах, я был никто, но Никто победил циклопа. Вот бы увидеть эти песчаные волны и еловые шалаши, жи-ши пиши через «ы», ш-ш-ш-ш-ш, зигзигзеу, ш-ш-ш-ш-ш, закрываешь руками уши и видишь – еловые лапы.

– Эй, ау. Ты теперь тоже. Научился висеть, гуд феллас.

Иона щелкнув пальцем перед моим носом, вывел меня из оцепления моего оцепенения.

– Хорошо. Я согласен, – я выпрямился.

– На что согласен?

– Чего теперь делать-то: нужны деньги.

– Да. Вариков у тебя немного теперь. Ссыкуны. А письма эти тырить. Не ссал?

– Тебе не сложно: уехал, если что, к своим в Уфу, а куда мне деваться? И где деньги взять: одних «Пропилеев» мало, а Тамара выгонит, если не приносить ей деньги на еду и на ее травки. И что тогда? К тебе в Уфу? Или в лагерь за тунеядство? А тут еще эти чужие письма – небось посадят за кражу, халатность, хранение или еще за что угодно.

– А чего. Иди – и продай эти веселые. Картинки.

– А кому они нужны?

– Они же старые? Их эти, в антикварном возьмут.

– Ну возьмут.

– Так иди и продай. На первое время. Хватит. И много тебе надо-то? А там будет. Видно.

– А там будет видно.

Я подумал, что это хорошая мысль: за ящик старых писем можно что-то выручить. А у меня был знакомый антиквар, одноклассник по прозвищу Ловчилла. Он еще подростком приторговывал открытками из коллекции своего деда.

– У меня и самого письма старые есть – от деда остались.

– Вот и их туда же. Все и отнеси.

– Отнесу ему.

– Кому?

– Антиквару. Ловчилле.

– Ладно, пей. А я посижу здесь.

3.25

– Отнесу ему.

– Ладно, пей. И будем. Закрывать на сегодня. Хорош уже.

Водка, стакан, в него лимон, стакан пойдет по стойке. Снова закрыл глаза до китайских щелочек.

Помолчал, еще помолчал. Почти наощупь налил еще.

Слышу: всшу-ук, з-з-з-з-з-з, пптх, пшт-т-т, и вдруг: «Не говори никому». Я глотнул водку и сквозь лимон ответил: «Все, что знаешь, забудь».

– Я скажу: на холме был дом.

– А я скажу, что и дом, и ручей – ничей, – ответил я.

– Это яблоко?

– Нет, это облако.

– Хуя себе, – сказал голос.

Я открыл глаза. Справа от меня сидел человек с черными, как черная вода, волосами. Я сказал ему:

– Одноактовой жизни трагедия.

– Диалог резонера с шутом? Ты кто?

– Я Мартын.

– Ну и хуй с ним. Налей еще.

Иона поспешно – я таким его еще не видел – налил две стопки водки.

– Ты кто? – снова спросил черноволосый и закурил, хотя курение в публичных местах было запрещено строжайше.

– Я же сказал – Мартын.

– Ну и хуй с ним. Ты Пахомова знаешь?

Я не успел ответить, а черноволосый уже вскочил со стула и стремительно пошел куда-то вглубь бара.

– Кто это?

– Ты что, – сказал Иона, – придуливаешься?

– Я понятия не имею.

– Меркуцио.

– Чего?

– Хозяин, блядь, наш. Его дружки Меркуцио. Называют. Итальянец, наверное. Владелец «Пропилей», он по документам как Виктор Чаплыгин проходит. А так – черный черт, Готвальд, Меркуцио, Карлсон. Это он сегодня тихий, в другой раз. Бы уже тарелки летали. На. Скорость. Ты чего с ним шаманизмом. Каким-то занимался?

– Просто он стихи знакомые назвал.

– А, у него. Про это пунктик. Ты ему про аккордеон. Только не говори, совсем заебет.

Чаплыгин вернулся минут через семь:

– Не говори никому. Все, что знаешь, забудь: птицу, старуху, тюрьму или еще что-нибудь.

Мы говорили стихами восемьдесят четыре часа, и каждые две минуты он глотал стопку, запивая ее эспрессо.

– Ты правда наш звукорежиссер? Похуй. Меня позвали в кино только что. Чтобы я играл Гумилева. Бесплатно. Перед его смертью. Похож, да? Съёмки со спины, правда. А вчера предложили за деньги – десять солнечных дней, сотни тысяч в день, миллионы за десять дней. Сыграть энкавэдэшника на рыбалке, хорошего, который спасает мир типа, пытается выйти из положения и детство вспоминает. Блядь, из-за этого драка началась, видишь кулак сбитый? Я их на хуй потому что послал. Дай лимон, или яблоко, или что там.

Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.

Знаешь такое?

– Поставь музыку, радио убери, – он повернулся к Ионе, – музыку из моего списка. Что «нельзя»? Поставь из моего списка.

Недовольно ворча, Иона – ему явно не нравилось ставить музыку не из разрешенного списка – все-таки поставил песню «На краю». Слова песни влезали в слова Меркуцио и соединялись друг с другом.

– Гениально, да, про яблоко? Нет, это облако. Дядя в шляпе, испачканной голубем, отравился в трофейном трюмо, та-та-та-та-та, там чего-то там, так оно получилось само.

– Было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке, – продолжил я.

– Это облако? Нет, это яблоко, – вскочил и закричал он. – Это азбука в женской руке. Это какой-то нежности навыки, та-та-та-та-та, та-та-прудам, н-н-н-н-н-н-н-н, руки, я тебя никому не отдам! Ты понимаешь, что... – ты, налей водки еще! Ты понимаешь, как важна возможность обсуждать, какие яблоки, фрукты или овощи купить сегодня на ужин и брать эти ебаные баклажаны или нет. Потому что они подорожали. Это настоящая жизнь. А! Азбучной нежности! А перебать всех, блядь, баб в городе – это не жизнь. Это проебанное время. В прямом смысле слова.

– «От порога и до Бога ночь темна».

– Ну так ты наверное, узнаешь человека и себя узнаешь тоже, когда нового человека узнаешь.

– Потрясающе. Ни хуя ты не узнаешь. Похвастаться нечем. Если тебе есть чем похвастаться – это тем, что у тебя не десять баб, а сотня, значит, ты человек, который может похвастаться сотнями баб. То есть ты никто.

– «Темной ночью в темном небе черная луна. / Ты один и я одна, ночь темна. / Ночь темна... / Ты один, я одна, ночь темна».

Я наконец смог рассмотреть его, хотя это было почти невозможно: черноволосый черт все время был в движении. Один глаз черный, как у Хэролда Перрино, другой зеленый, как у Убальдо Золло, привычка сдвигать брови, принимая суровый вид, делала его похожим на Джона Берримора, а губы – на Сергея Кореня. Но больше всего он был похож на Меркуцио Джона МакИнери, сыгравшего у Дзеффирелли. Он был на него так похож, что не оставалось сомнений: в честь него Чаплыгина и назвали Меркуцио. Только в нашем кастинге внесли некоторые изменения: волосы – не рыжие, а черные, не худой, как МакИнери, а крепкий, как Тибальд, часто моргает. В остальном – нос, всклокоченные путанные волосы, вся фигура в бесконечном движении, быстрый на жесты и на ответы, и прочее, и прочее, изысканный, невыносимый, благородный Меркуцио. Он стремительно – как и все остальное, что делал, – переходил с темы на тему, я едва успевал за ним.

– Я старался быть очень хорошим человеком с ней, – он потушил сигарету и закурил новую.

– Что?

– Хорошим человеком. И чем больше банальщины ты себе формулируешь – я не знаю, почему в сорок три года мне это пришло, а не в, блядь, тридцать два или двадцать один, – единственная ценность...

– «Не найти... / Не найти тебе пути, не найти. / Не найти... / Не найти тебе пути, не найти».

– ...которая есть в жизни, – это считать себя более-менее достойным человеком. Помогать людям, спасать детей, объяснять твоим или чужим детям, как вообще устроено что-то, все остальное – говнище, чудовищное. У тебя жена есть? Ну кто-то есть?

Я помотал головой.

– Будет. Даже с твоей благотворительной внешностью. На меня посмотри – я что, лучше? Вспомнишь еще, что я тебе сказал. Вспомнишь на даче осу, детский чернильный пенал. Держит раковина океан взаперти.

– Но пространству тесна черепная коробка. Бояться ничего не нужно.

– Вот именно, тесно коробке, – сказал он и дважды ударил себя по левой груди и по голове.

Сразу после их смерти мне стал тесен этот пенал, моя раковина. Оттого, что они умерли, во мне сломалась заслонка, защищающая от других, не своих болей. Я стал слышать боли – станции всех людей вокруг, так же как слышу звук крылышка комара. Океан вырывался, как читал папа.

Умершие родители всегда умерли сегодня. Неважно, сколько дней и лет назад это случилось. Думая о них, я вижу зиму и вижу, как в памяти растет снежный ком. Каждое воспоминание о них делает этот ком все больше. Воспоминания смешиваются с ангиной, случившейся сразу после их похорон, а затем – с осложнением на ухе, и вот память о них увозят все дальше и дальше на страшных санях с железными полозьями, их слова сливаются с другими, да и могу ли я помнить их – отдельные светлые пятна. И я остаюсь в мире, лишенном своего прошлого, в темноте, с комом в горле. С отцовским крестиком-шрамом на внешней стороне правой ладони, набором слов из поэтической антологии и недослушанных пластинок, с маминым обещанием: «Найдешь майскую королеву, с ней сможешь приручить великанов, циклопов». Я представлял себе сотни миллионов раз эту девушку, которая поможет победить мое проклятье, голоса в голове, вечный шум. «А кто вы такие?» – спросила Мария». Я представлял себе, что таким, как в стихотворении о Рождестве, будет голос той девушки, о которой предсказание мамы. Но раз есть великаны, то должно работать и обещанное волшебство из почтового ящика: «мысль меняет обстоятельства». Как иначе объяснить появление Меркуцио с теми же стихами и все остальное, что стало собираться вокруг меня.

– Заснул? У тебя нос настоящий?

Он дернул за мой нос.

– Живешь в каком-то сказочном лесу, откуда уйти невозможно. Ты этому еще одно подтверждение. Эх, был бы я помоложе.

– Поставить? – спросил Иона.

– Не надо ничего ставить. Ты кто вообще?

Иона все равно пошел ставить другую музыку.

Меркуцио был пьян и норовил упасть с высокого стула.

– Блядь, ты про лес понял? Пять миллионов гектар горит прямо сейчас. Сейчас, в эту минуту. Там миллионы этих, зубров, лисиц всяких – все погибли. Смог в Омске, Красноярске, Новосибирске – города в тумане. Вот так, миссис Хадсон. Я точно знаю, у меня поставщики оттуда. А кто-то про это говорит? Никто об этом не знает ни хуя! С этим огнем кто-то что-то делает? Ты знаешь, что ни хера не тушат вообще?

Он опять закурил и сказал:

– Сейчас новые присяги начнутся. Знаешь?

– Чего? Бояться ничего не нужно.

– Чего? Президент сказал, что все должны присягнуть в течение двух месяцев. Если не сделаю, у нас разрешение собираться больше двух заберут – и пиздец всему.

– В смысле, письма подписывать или что?

– Ну, по-разному.

– А что все делают?

– Пытались договориться. Пытались так сделать, что если историю с Крымом ты съел, чтобы это была достаточная присяга. Но это уже давно было. Сейчас новые уже присяги, Крым – это прошлая жизнь, нежная. Там будут требовать сейчас пиздец чего. Я не буду. Я не смогу. Не очень понятно, что делать. И у них же черных мундиров миллионы. Гвардейцев этих ебучих.

– Ну им же не все нужны.

– Все. Все! Ты им нужен. «Они превращают все во все остальное / и все остальное в ничто».

– Я, например, им на что?

– О, вот и попался, эти стихи не знаешь. Все им нужны, все. Понял?

– «Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, / Если терем с дворцом кто-то занял».

– С дворцом кто-то пропил! Здесь лапы у еле-е-е-ей. А чего ты все время переспрашиваешь? Не слышишь или, наоборот, слышишь? Я потому что тоже переспрашиваю, звуки не всегда помещаются, меняю их местами в голове – сортирую. Я, кстати, купил себе самому в подарок билет на Марс. Не шучу. Seriously. Буду дикарем опять. Робинзон Крузо. Ты про баклажаны понял? И понял я, что я – мертвец, а ты лишь мой надгробный камень. «Как я, угробь / опыт и путь. Езжай». Понял? Живи не по лжи. На меня запиши, – он кивнул Ионе.

И он ушел куда-то.

– Пережили вроде, – сказал Иона и пошел закрывать кассу.

Я допил, давась, свою стопку и вынырнул на улицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.